О. О. ГРУЗЕНБЕРГЪ

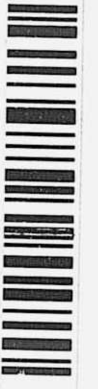
ВЧЕРА

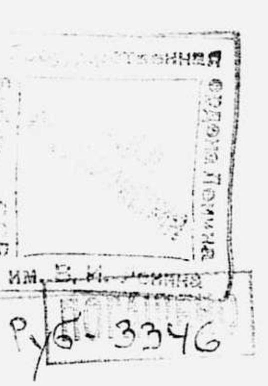
ВОСПОМИНАНІЯ

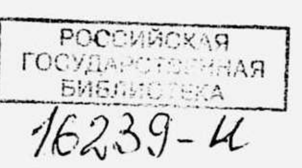
Посвящается женѣ моей.

ПАРИЖЪ









ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первое слово, которое дошло до моего сознания, было русское. Песни, сказки, няни, сверстники детских игр — русские.

Я полюбил этот удивительный язык: в ласке шелковисто-нежный, завораживающий; в книге — простой, просвечивающий до невозможности скрыть малейшую фальш; в испытаниях борьбы — подмороженный, страстно-сдержанный.

С четвертого класса гимназии я занимался русским языком, в особенности народным творчеством — былинами, сказками, песнями — с любовью и настойчивостью.

Учителем словесности был в ту пору у нас, в 4-й Киевской гимназии, великоросс Н. И. Иванов, большой знаток своего дела. Он был антисемитом, но, как и большинство русских, не причинил зла ни одному еврею. В статьях, печатавшихся в 80-х годах в **«Записках нежинского (демидовского) лицея»***), он сетовал на то, что евреи портят русский язык.

Сильна была моя радость, когда, вскоре после появления одной из таких статей, он позвал меня, тогда шестнадцатилетнего ученика седьмого класса, в учительскую и с присущей ему суровой манерой буркнул:

— Вот что. У меня в пятом классе отсталый, но способный малец: подправьте его по словесности. И вас этот урок подправит — живете, слышал, не жирно.

А через год, перед выпускными экзаменами, с той же суровой манерой, но с улыбающимися глазами, в которых лучилась отцовская нежность, забытая мною за четыре года сиротства, он обласкал меня сообщением:

*) В то время лицей был историко-филологическим, впоследствіи стал юридическим.

— На днях мы послали попечителю в округ сведения о выделяющихся среди вашего выпуска. По моему предмету я мог указать только вас. Я написал, что вы занимались русской словесностью с исключительной любовью.

— Ну, что надумали? На какой факультет идете? — Спросил и отвернулся.

На какой факультет? Что ответить?

В мозгу горят отрывки народных сказаний, в ушах звенит музыка былинного ритма, а сердце точит обидная мысль: куда лезешь со своей любовью? Кому она нужна? Ты будешь смешен и жалок со своей навязчивостью. Тебе не разрешат преподавания даже в низшей школе... Или ты собираешься оплатить входной билет в русскую учительскую ренегатством?..

Словно от удара хлыста, лицо заливается краскою. Да нет же! Я об этом не помышляю даже в минуты малодушия.

Иванов искоса взглядывает на меня и, разгадав молчаливый ответ, крепко жмет руку и быстро отходит.

Я поступил на юридический факультет.

Нравились ли мне его науки?

О них, кроме разве русского евангелия 80-х годов — политической экономии, — я имел смутное представление.

Меня привлекло к этому факультету иное.

В последнюю зиму гимназического учения я побывал несколько раз с молодым, начинающим адвокатом в уголовном суде.

За блеском и красотою судебного состязания я почувствовал, сознал всем существом ужас одиночества, отчужденности тех, кого закон, выхватив из сотен тысяч сограждан, наряжает в арестантскую куртку, помещает на обнесенной решеткой скамье, окружает часовыми и ставит перед лицом судей, прокуроров в блестящих мундирах, перед лицом присяжных в сюртуках, пиджаках и зипунах.

Там, поодаль, публика, разжигаемая неутомимой жаждой чужого всамделишного страдания, настоящих страстей, окупаемых искалеченной жизнью.

В зале реет нечто грозное, неуловимое, но явственно ощутимое. Я позднее разгадал его название: недоверчивая жестокость.

Из жизни человека, из его прошлого и настоящего вырывают отдельный случай — и все в него всасываются, не

желая понять, что весь человек — не меньший факт, нежели его деяние.

Все против одного. — Все государство, весь мир.

Кто же за него? Кто заслонит? Один — единственный: защитник...

Надо — думал я — непременно надо научиться владеть хорошо железным хлыстом закона, чтобы стегать забывающего беспристрастие председателя, чтобы отгонять упивающегося травлею прокурора.

Осенью 1885 года я поступил в Киевский университет.

Четыре года университетской жизни — пора моего сплошного опьянения. С самого утра я был всегда пьян — пьян без единой капли вина — от прочтенных накануне, поздней ночью, мечтаний поэта, пьян — от восторженного удивления перед прихотливо развертывавшимся, зеленеющим простором жизни, где явственно намечалась моя, хоть узенькая, но — **моя** тропинка. Пьян — от тревожно-сладкого прислушивания к легким шагам подкрадывающегося счастья, чьего то неумолчного нашептывания, что оно придет сегодня, вот — сейчас. И всюду солнце, высокое солнце. Казалось, никогда не будет ему заката. И все же жалко было пропустить даже единый луч. — Я потом отдам. Как сумею, отплачу. Ничего не утаю. Но пока — надо вобрать в себя, впитать все.

Семья наша перебивалась. Былое богатство отца, при котором она жила не только в довольстве, но и в баловстве, с внезапной смертью его, быстро растаяло в руках шустрых ликвидаторов. В возок семейного благополучия впряглись: я, сестра и брат — и покатили его по ухабистым дорогам жизни.

Мы втроем давали уроки, и заработка нашего хватало только на то, чтобы устроиться шестерым братьям и сестрам, с матерью во главе, в двух комнатах и довольствоваться рационом, в центре которого была похлебка с куском мяса, а на крайних флангах — стакан чаю с хлебом.

Подобно прославленному монаху средневековья, мы могли тогда сказать, что купаемся в посте и наслаждаемся лишениями. Но мы чувствовали себя страшно богатыми.

Русские книги, русские друзья и приятели — весь этот чудный мир молодых мечтаний и бескорыстных увлечений завладел нами всецело, закружил — и поднял высоко над землею. У нас был свой особый календарь. Исчисляли

мы время по литературным событиям, встречам. — Это было до появления статьи Щедрина, Михайловского, а то — после приезда Надсона в Киев, незадолго до или после такого то рассказа или лекции.

Я спускался на землю только в те часы, когда шел с урока на урок. Но и тогда запрокидывал голову, чтобы удобнее было глядеть на небо, в ту пору еще высокое, сулившее одно лишь добро.

Про меня говорили солидные люди: какой толк может выйти из мальчика, который никогда не глядит вниз, под ноги.

Чудаки... Что бы там я увидел?

Мои худые сапоги, которых, все равно, не сумел бы починить ни один мастер.

А под ними? Землю бедную, еще беднее, нежели мои сапоги, землю скорбящую, грязную от крови и слез.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Не следует пожилому человеку рассказывать о своем детстве. Он внесет в рассказ умудренность, легкую иронию, сгладит резкие черты, подрумянит, припудрит морщинистое лицо и в лучшем случае получится загримированный под ребенка старик.

Даже Толстой не дал в «Детстве» детства. Его «Детство» нравится потому, что он описал его лучше, чем кто либо другой из великих художников. Наиболее яркая сцена: Николенька вставляет спящему гувернеру в нос «перо»; Карл Иванович чихает и просыпается.

Разве Николенька рассказывал об этом так, как написал Толстой? — В рассказе Николеньки наверное звучало упоение отвагой, изобретательностью — и, рядом с ними, легкая тревога, не нажалуется ли Карлуша. Проделать ловко шалость для ребенка то же, что юноше написать удачное, по его мнению, стихотворение: не успели еще просохнуть чернила, он уже спешит к любимому товарищу для взыскания похвалы.

Рассказывать о детстве не следует, как мне представляется, еще и потому, что все уже известно, переизвестно: кинул в автомат монетку, выскочила шоколадка. — Парадное шествие штампованных чувств, штампованных слов. Даже знаки препинания и те сводятся лишь к двум: восклицательному или многоточию; читатель, мол, сам догадается.

Вместо того, чтобы рассказывать, чего правдиво не рассказать, остановлюсь лишь на занозах, которых не выковырнуть из памяти.

1.
ПЫТКА ПОЗОРОМ.

Из екатеринославского периода детства. Мне шел тогда седьмой год.

Случилось это летом, ранним утром, когда солнце, еще не жаркое, не буйствует, а искрится ласковыми, бледно-желтыми брызгами.

Пользуясь от'ездом матери, взбираюсь на стул и, облокотившись на подоконник, смотрю на улицу. Бонна тут же, но не трогает меня — только следит, чтобы не высовывался из окна.

Вдруг справа, со стороны бульвара — главной улицы, пересекающей город, — слышится сердитый, отрывистый, в две ноты, бой барабанов: «тра-тра», без рассыпчатой, смягчающей дроби — «та-та-та».

Сбегаются кухарка, горничная и какая-то из приживалок.

— Мабуть, везут Шварца... Тый, что спалил хвабрику, щоб заграбить штраховку, — высказывает догадку всезнающая кухарка.

Через несколько минут показывается никогда до того невиданная мною высокая повозка — вся черная.

На ней черный помост. На помосте, на узкой, короткой скамейке, спиною к вознице, сидит с отведенными назад, связанными руками коренастый старик, с круглой седой бородою. Спереди, по бокам, позади повозки солдаты, много солдат.

А барабаны, не смолкая, выплевывают старику в лицо свое злое «тра-тра».

— Ой, лишенько, — взвизгивает кухарка.

Бонна, побледнев, дергается плечами и стучит зубами. Вдруг срывается, хватает меня на руки, нахлабучивает шапченку, повязывает мне шею платочком (в летнюю жару!) — и бежит на улицу, в толпу.

Все — повозка, солдаты, толпа — двигаются медленно в гору, но недолго.

Конная площадь. На ней эшафот.

Старика отвязывают. Приставляют лесенку, помогают сойти с повозки.

Тяжело ступая и громыхая кандалами, он взбирается на эшафот. Там, кроме палача (по местному — гицеля), еще двое. Один, который постарше, что-то приказывает молодому. Тот громкой скороговоркой читает. Как из прорванного мешка горох, сыплются цифры законов, только для того, чтобы закончиться понятными словами: «к ссылке в каторжные работы на восемь лет». Молодой смолкает.

Барабаны опять свое, все свое.

Старика привязывают к высокому черному столбу. Он стоит долго, страшно долго — не по времени, а по муке.

Стоит один, весь исколотый сотнями любопытных глаз. Сидя у бонны на руках, смотрю на старика, в его опущенные, но не закрытые глаза.

Выражения их я тогда не понял, но запомнил навсегда.

Потом, с годами, я разгадал: глаза захлестанной, свалившейся клячи — испуганные и молящие.

В застывшей толпе кой-где воют бабы, кой-где, куражась, посвистывают мальчишки.

Наконец, раздается команда: отвязать!

Старика отвязывают. Глаза его уже не прежние: они больше не молят, в них только злоба, черная злоба. Он выпрямляется, подтягивается, становится как будто выше.

Его подталкивают к ступеням. Он озирается по волчьи.

Как теперь понимаю, он хотел крикнуть: «Сосчитались! Сквитались? Мало вам моей каторги? Ростовщики!»

Он сходит с эшафота дерзкою, плюховою походкой — именно плюховой: как будто, сыплет на ходу во все стороны плюхи.

Его сажают в тюремную каретку — и увозят.

Выставка к позорному столбу... Отсюда пошло гулять крылатое выражение: выставить или даже пригвоздить к позорному столбу.

Этот придаток к главному наказанию (к каторге или ссылке на поселение) попал даже в судебные уставы (ст. 963 Уст. угол. судопр., в редакции 1864 года), прошел через всю «эпоху великих реформ» — и был отменен только в 1880 году.

2.
В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ.

Мне десять лет.

Семья наша переехала из Екатеринослава в Киев. Первая наша квартира: Крещатик, дом Широкова.

Хотя весь участок застроен густо, двор все же просторный. Он принадлежит всецело нашей братии — ребятишкам. Взрослые нам не мешают, — задерживаются во дворе не надолго.

Детвора в нашем дворе подобралась славная. Да и то сказать: плохих детей не бывает, — бывают только плохие родители, их губящие.

Среди детишек мне особенно пришлись по душе четверо: синеглазых два мальчика, одна девочка и отец их сапожник Василий. Он самый ребячливый, самый затейливый и бесконечно милый ребенок. Маленького роста, светловолосый, бородка клинушком, с высоким лбом, всегда перехваченным почему то ремешком. Особенно полюбились мне его синие глаза, на редкость добрые, с легким налетом веселого лукавства. Одно тол.ко в них тревожило: постоянный их блеск, нездоровый блеск.

Взрослые относились к Василию пренебрежительно: «Пьяница, — да разве бывает сапожник не пьяница!»

Чудаки. — Если бы люди не опьяняли себя алкоголем, табаком, любовью или идеями, какой дурак согласился бы жить.

На Страстной неделе, в ночь с пятницы на субботу, на наш двор свалилась большая беда.

Нас разбудили разноголосый крик, бабий вой и причитания.

Мы кинулись во двор.

Едва брезжил рассвет. На дворе были почти все жильцы нашего дома.

Случилось вот что.

«Золотари» приехали чистить выгребную яму. Отвинтили крышку. Один из золотарей спустился с черпаком в яму на веревке. Вскрикнул и упал поперек ямы, упал несчастливо, нельзя было вытащить. На помощь ему был спущен другой золотарь. Тот сразу задохся от зловоний, даже не вскрикнул.

Золотари растерялись, стали кричать и звать на помощь.

Когда мы прибежали, почти одновременно с нами прибежал и Василий с женой и детьми. Он как то странно топтался на месте, — словно раскачивался. Потом кинулся вперед, расталкивая народ. Глаза его были не его, уже нездешние, ничего кроме одной точки, где выгребная яма, не видевшие. Жена его закричала криком, которым в другой раз никогда не крикнешь: не хватит душевных сил.

— Вася, не надо! Вася, пожалей ребят, пожалей меня...

Василий ничего уже не слышал.

Он расталкивал толпу, — никто не осмелился его остановить. Василий задержался на мгновение перед выгребной ямой. Перекрестился широким крестом и ринулся в нее, чтобы спасти неведомых ему людей.

Вскоре прибыли две пожарные повозки с людьми, баграми и шестами. Пожарные выловили три тела и положили их рядом. По двору от них пошел захватывающий дух смрад. К телу Василия кинулись жена и дети. Припали к нему. Вырвавшись из рук матери, кинулся и я. Чудные синие глаза Василия, которые я так любил, были густо залеплены нечистотами.

Некоторе время погодя, во двор влетела полицмейстерская «эгоистка». Как всегда, с ногами на подножке и опершись рукой на плечо кучера, стоял наш бравый полицмейстер фон Гюббенет. Как всегда, он был выпивши, хотя в ремесле своем был далеко не сапожник. За нимъ — в те годы политического террора, — всегда следовали два казака, с пиками на перевес.

Раздалась его властная команда: «казаки, нагайки в руки, не бить, а разгонять!»

Толпа отхлынула, но не разбежалась: только прижалась к строениям. Полицеймейстер очутился перед тремя смрадными телами. Он вздрогнул, но голос ему не изменил: «Хороши... Когда полиция просит помочь тушить пожар, качать воду, все вы разбегаетесь... А вот в такой страшный день поехали чистить выгребную яму... Накрыть тела рогожами. А вы, г. пристав, принимайтесь за протокол».

Полицеймейстер уехал. Пристав, околоточные, городовые принялись мерить, записывать. Затем вызвали из толпы двух понятых и пристав начал составлять протокол.

Толпа осмелела. Приблизилась к покрытым телам. Неудержимо потянуло и меня. Я приподнял рогожу, чтобы в последний раз взглянуть на обиду Василия, — на те две навозные нашлепки, которые припечатали его глаза.

Полиция, закончив работу, увезла тела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришло отрочество с его самолюбивым отталкиванием от детства и спешкою прильнуть к юности.

Оно началось печально.

Только что сдал переходные экзамены в пятый класс. Приступаю к летним радостям на даче под Киевом.

Принесли телеграмму от отца из Екатеринослава, куда он отлучился по делам дней на десять.

«От укуса ядовитого насекомого сделали операцию губы. Перелом наступил, но болен».

Кинулись на вокзал. Дачные поезда часты — менее, чем через час мы в Киеве. Не заезжая домой, пересели в первый отходящий в Харьков поезд. Он оказался путанным, с несколькими пересадками. Тащились двое суток. Приехали в Екатеринослав чуть свет. На мосту встретились со старшим служащим, которому телеграфировали с дороги.

— Разве не получили моей телеграммы? Все кончено. Похоронили, дожидаться вашего приезда нельзя было. Полиция торопила: умер от сибирской язвы. За несколько станций до Екатеринослава Иосиф Давидович почувствовал укус мухи. На губе появился прыщик. На другой день слег. Созвали врачей, — они решили, что нужна операция. Изрезали губу, — не помогло. Накануне смерти догадались: сибирская язва. Сознание его не покидало, лишь изредка бредил. Все время говорил о вас, о детях. Последние слова его были: «бедная Малка (Матильда), бедные дети, — их ждет нужда». Потом хлынула кровь — и его не стало.

Часа через два, когда установилось утро и стал возможен доступ на кладбище, я стоял у могилы и читал по бумажке свою первую сиротскую молитву.

Через несколько дней вернулся с матерью в Киев: дома ждало еще пятеро детей.

Кончилась сытая жизнь, — началась нужда. Она нас не испугала. Миллионы людей жили в вечном голоде и холоде, — чем мы лучше их?

За три года до смерти отец отдал нас в гимназию. Я поступил во второй класс, брат — в первый.

Радости хватило только на несколько недель. Нам купили синие мундиры с пуговицами под серебро и с таким же галуном на воротнике, кепи — австрийского военного образца, с высоким донышком и козырьком на отлете. Ночью — то я, то брат, в уверенности, что другой спит, зажигали огарок и любовались новым, почти что военным платьем.

Однако, мундир скоро потерял свою прелесть, — тем более, что я умудрился закапать его чем то сладким. С тех пор стал ненавидеть всякое новое платье и радовался злой радостью, когда появлялось первое пятно: шабаш! не надо больше ухаживать за этим пустопорожним дураком с растопыренными руками.

Гимназию, как и все мои сверстники, я не любил: очень уж донимали нас дисциплиною по пустякам. Сколько натерпелся неприятностей из-за того, что носил ранец не на плечах, а на руках. У окна, выходящего на улицу, караулил директор — беда, если заметит, что ранец не на плечах. Сейчас застучит костлявым палцем в стекло: возвращайся назад и сиди в пустом классе час-другой «без обеда».

Со смертью отца гимназия стала мне ненавистна по особой причине.

За год до кончины у отца произошел при мне такой разговор с приятелем:

— Где ты вчера пропадал? Весь день никак не мог тебя поймать.

— Вчера годовщина смерти моего отца, — ходил за него молиться.

— Вот не ожидал: ты — молиться! Ведь ты не веришь во весь этот вздор. Да и со времени смерти отца прошло лет двадцать.

Отец ответил: я ему обещал.

— Ты думаешь, отец твой обидится, если не сдержишь обещания? Ну, твои сыновья не станут бегать из-за тебя в молитвенный дом.

Отец посмотрел на меня: жаль, — надо поминать родителей.

Я запомнил слова отца, — и, не любя с детства церковности, отдававшей театральностью, все же, превозмог себя.

В первый год, по кончине родителя или родительницы, надо молиться за упокой души 11 месяцев три раза в день: утром; второй раз — при закате солнца; третий — когда вызвездит. Все эти моления должны производиться в собрании не менее, чем в десять человек. Приходилось бегать в расположенную наиболее близко к нашей квартире молельню ремесленников. Днем и поздним вечером бегать туда было не очень трудно. Но с молитвою по утрам — горе. Ремесленники — мелкие хозяйчики — начинали свой рабочий день в пятом часу утра — и, проработав несколько часов, отправлялись в свой молитвенный дом. Раньше 8½ часов нельзя было мне освободиться, а в гимназии занятия начинались, как нарочно, тоже в 8½ часов. Приходилось, значит, ежедневно, запаздывать. По началу учителя относились к моим опозданиям грубовато-благодушно:

— Видно, служишь в кухарках, бегаешь по утрам на рынок.

Потом стали оставлять меня на два часа в классе, «без обеда».

Когда и это не помогло, ставили на большей перемене на площадке под часами.

Это было самое обидное для меня наказание: приготовишки и всякая иная «мелочь», как мы их высокомерно называли, хихикали, высовывали язык и дразнили: «часовой, бессменный часовой!»

Потом, в воскресные и праздничные дни запирали меня в карцере. В лестнице школьных наказаний карцер считался высшим, но я воспринимал его, как самое легкое: никто тебя не дергает, от скуки готовишь хорошо уроки.

Хуже всего было то, что и товарищи стали меня попрекать.

— Это возмутительно! Встаешь ты рано, ходу тебе в гимназию минут пятнадцать, — значит, забалтываешься или зацепляешься перед самым уходом за газету. Нам за тебя стыдно.

Я сердито огрызался: приберегите стыд, — его не хватает для вашего собственного употребления.

И товарищам не решался сказать правду. — Из доброго чувства, чтоб оградить меня от незаслуженных взысканий, наверное рассказали бы учителям. Те поощрили бы меня за мнимую религиозность и не мнимую семейственность. — Это было бы подлее подлого: зарабатывать на любовной памяти об отце!

За время хождения три раза в день в молельню я познакомился съ гвардейским офицером, перешедшим в иудейство. Между нами установилась близость, насколько она возможна между подростком и пожилым, лет пятидесяти, человеком. Жил он в молитвенном доме, ел, что дадут; спал на узкой скамейке без подстилки. Целые дни проводил в молитве и чтении духовных книг на древне-еврейском языке. Знатоки говорили, что знал он этот трудный язык в совершенстве.

Евреи чтили его за святость, но тяготились им: того гляди, пришьют тебе совращение в «жидовскую ересь».

Раз как то он задержал меня после вечерней молитвы и предложил пройтись по двору. Заговорил смущенно о себе.

Был он офицером одного из гвардейских полков. Служил хорошо, с товарищами жил дружно, хотя часто пропускал их веселые собрания. Потом вдруг заскучал: странная, мол, профессия, — всю жизнь готовиться к истреблению тебе подобных. Принялся за Евангелие и удивился: как этого раньше не заметил, — оно почти сплошь состоит из цитат из Ветхого Завета и пророков. Даже трогательная католическая отходная «Де профундис» скомпанована из творений пророков.

Тогда он принялся за изучение древне-еврейского языка.

В полку нашли, что он слишком чудит и предложили подать в отставку. Командир сообщил о нем, куда следует и не следует. Стали к нему являться для увещания священники. Потом заточили его в монастырь. Тут он обозлился: каждый день брал его в переделку то один, то другой наставник. Один раз дошло до того, что схватил со стола нож — и со словами «не сдвинете», отрубил себе палец. Его освободили.

Так в поисках правильной веры дошел он до самозаточения в бедной еврейской молельне.

Много лет спустя, когда я читал «Отца Сергия» Толстого, вспомнил «жидовствующего» гвардейского офицера и подумал, — не он ли послужил прообразом.

Однако, остановило соображение, что мой милый собеседник не способен на то свинство, какое Толстой приписал своему подвижнику.

Скорее всего, Толстой был увлечен «Искушением св. Антония» Флобера.

Как Шиллер во время работы ставил около себя корзину с гнилыми яблоками, запах которых его вдохновлял, так и Толстой иногда отправлялся в своем творчестве от чужих посредственных произведений.

С седьмого класса гимназии у нас завелись кружки саморазвития с хорошими для отроческого возраста докладами. Проникали в наши собрания и революционные воззвания. Стало прокрадываться сознание, что не только мы — школьники — тяготимся нашей тюрьмой: для тех, кто мыслит и чувствует, весь уклад царской России был тюрьмой, в которой для инородцев были отведены наихудшие камеры с испытанно-грубыми сторожами.

Однако, больше, чем прокламации, на нас повлияли два события: закрытие журнала «Отечественные Записки» и казнь двух мальчиков.

К тому, что, с закрытием «Отечественных Записок», лишился кафедры Щедрин-Салтыков, я отнесся равнодушно: он никогда не увлекал меня, — в нем чувствовался барин — острослов и насмешник, царапающийся талантливо с начальством, но никого и ничего не любящий крепко. — Для него вся Россия с ее мучительной историею была лишь громадным городом Глуповым.

Пусть Некрасов умер, — но закрыть журнал, напоенный кровью и слезами Некрасова, более родного и близкого моему времени, нежели Пушкин, — русского во всем, даже в случайных, чуждых его духовной сущности, ошибках.

Произойди какой нибудь катастрофический обвал, унеси он все русские книги и оставь лишь произведения Некрасова, по ним одним можно было бы разгадать и полюбить Россию.

Трагическая фигура, несмотря на внешние успехи! Не трагично ли написать в детстве: «Любезна маменька, примите сей слабый труд и рассмотрите — годится ли куда-нибудь», а перед смертью не сдержать вопля: «Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются» и обратиться к другу-жене с беспомощной мольбою: «... тот день, когда ты полюбила и от меня услышала люблю, не проклинай: близка моя могила, поправлю все, все смертью искуплю»... Над Некрасовым тяготеет какое то проклятие: до сих пор носятся с этикеткою «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». — Между тем, он лучший после Пушкина лирический поэт, превосходящий холодного ритора Тютчева. У кого сердце — не только физиологический орган, тот не устыдится своей слезы при чтении введения к поэме «Мороз — красный нос», многих строк в «Рыцаре на час» и ответа анонимному автору (Полонскому), приславшему ему стихи «Не может быть».

Пренебречь памятью такого поэта, погубить его детище, значит не дорожить духовными ценностями своей страны.

Другое событие, невероятное по своей жестокости — повешение двух мальчиков, Лозовского и Розовского. Они пытались отбить у вооруженного конвоя своего товарища.

Если бы конвой убил Лозовского и Розовского на месте, — это можно было бы об'яснить неоглядным раздражением. Но убить детей по приговору военного суда, притом не во время внешней или внутренней войны с ее безумием, — такому варварству нет оправдания. После этого я с ужасом обходил двухэтажное белое здание киевского военного суда, такое изящное и мирное на вид. Я не мог понять, как хорошо воспитанные люди, пестующие своих детей, могли отнестись так бездушно к горю и слезам матерей.

По городу, со слов тюремщиков, ходил жуткий рассказ о последних минутах этих мальчиков. Когда пришли за ними, Розовский недоумѣвающе повторял: «Да нет же, — это невозможно, это ошибка... У меня больная грудь... Доктор велел мне пить, вместо чая, настой из трав».

Нет, это было не наказание, а преступление.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Евреи вошли ко мне в дом вместе со смертью; законы о них — вместе с произволом и жестокостью.

Мстить подло, надо прощать все обиды, — но не все можно забыть.

Забыть, как унизили мою старуху-мать, никого в своей жизни не обидевшую, значило бы забыть, что если жизнь чего нибудь стоит, то только тогда, когда она не рабская.

I.

Зимней ночью 1886 г., в 3-ьем часу, нас разбудил стук в дверь и окно. Я вскочил с постели, открыл дверь. В комнату ввалились помощник пристава, два городовых, какой-то суетливый рыжий, — должно быть сыщик, — и дворник.

— В чем дело? Что нужно?

— Что нужно!.. Не видишь, что-ли, облава.

Облава... Охотники за черепами... Что-ж, их время, им место.

Я и братья стали быстро одеваться. Двое «охотников» кинулись в соседнюю комнату, где метались, разыскивая платье, неуспевшие еще опамятоваться мать и обе сестры.

— Документы на право жительства. — Живо!

Подали им паспорта, матрикулы, удостоверения.

— Студенты, курсистки... гимназисты... Да, вы имеете право жить в Киеве... А эта старая?

— Это — наша мать; по закону мы не только имеем право держать ее при себе, но даже обязаны.

— Содержите ее в Бердичеве, — сострил полицейский под смех свиты...

— Ну, собирайся, старая. Да не копайся!

— Не смейте тыкать, — вступился я.

— Эй, студент, не хорохориться, — это не университет.

Мать вывели на улицу. За нею поплелся и я. Из разных дворов выводили по два-три человека. Тут были женщины и мущины, — старые и молодые, даже подростки.

Всех их оцепили городовые и погнали. За ними, с плачем и криком, потянулись родственники.

Мороз потрескивал. Сеял редкий снег. Неохотно, скучающе мигали фонари: все равно всего не осветишь — одна лишь маята.

А их — «преступников» — с шутками и прибаутками повели в участок. Там, после короткого опроса, мою мать толкнули за перегородку, где копошились забранные в ту же ночь безбилетные проститутки и попавшиеся на работе воровки. Она провела в грязи, холоде и пьяной суматохе ночь и день, пока выпрошенное у одного богача покровительство не открыло ей двери на волю.

Что было пережито мною в ту ночь? Что решено? Коротко: после этой муки я видел в каждом, кто боролся с самодержавным произволом и его жестокостью, своего союзника, брата, перед которым в долгу, которому я о б я з а н прийти на помощь в дни его испытаний.

II.

Осенью 1888 г., когда я был на последнем курсе университета, меня посетил Бог.

Тяжело и медленно умирал мой ребенок. Едва только по лицу его пробежала смертельная тень, как жилье наше стали заполнять чужие люди, с длинными пейсами, в длинных, просаленных халатах. Они ходили по комнатам, о чем-то хлопотали, отдавали распоряжения на мало понятном мне языке.

Старший из них, печальный и строгий, подошел вплотную к постельке в семь месяцев выполнившего земную страду человека, и, низко наклонившись, бесстрастным голосом оповестил, что отец, мать и все родственники просят у него прощения.

Должно быть, он простил, так как его сейчас же положили в продолговатый черный ящик и понесли в пугливо-жавшуюся даль ноябрьской непогоды.

Впереди ящика метался маленький, худой, обросший густой бородой еврей. Позвякивая кружкой с медяками, он убежденно выкликал:

— Благотворительность спасает от смерти... Благотворительность спасает от смерти!

Бедные люди верили этому и торопливо опускали свои медяки.

Я шел среди кучки чуждых мне дотоле людей. Слушал и не слышал их грузные, словно разбухшие под дождем, слова утешения.

На кладбище они что-то пели, кого-то в чем-то убеждали и, не убедив, с торопливой покорностью опустили в могилу голое, крохотное тельце и стали закидывать его мокрою, чавкавшею от прикосновения лопаты землею*).

Во время похорон мои ближайшие друзья и товарищи из христиан незаметно отодвинулись, чтобы дать место поближе ко мне тем, кого привела в мой дом смерть.

В эти часы в душу закралось сознание, что есть у них, у людей этих, какое-то право на меня.

Сознание это изо-дня в день росло, зрело, крепло — и спустя несколько месяцев вылилось в убеждение, что право их на меня огромное, неот'емлемое, хотя и необ'яснимое.

И я, свободолюбивый, невыносящий ничьей над собой команды, почувствовал, что не уйти мне от их власти, что вместе с телом ребенка, они забрали и мою душу.

Кто же они, эти люди? Почему в самые важные минуты они в праве прийти ко мне и взять в полон без сопротивления? — В чем их право?

Я взялся за книги. Точные, строго правдивые, оне рассказали мне историю еврейского народа, осветили все повороты его мучительного пути.

Странное дело! — Книги эти трогали меня, но не покоряли.

— Кровь... муки... слезы... Да, это так, но ими залиты все пути всех народов — не только еврейского. Как измерить, как взвесить, сосчитать, — кто из народов больше страдал, кто чаще плакал, кого жизнь больше утомила?

Прошлое со своими миллионами мертвецов... Они протягивали ко мне костлявые руки, глядели пустыми глазными

*) По еврейскому закону нельзя хоронить в гробу, равно как в саване: «наг вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь туда». Впоследствии стали отставать от этого обыкновения, и оно сохранилось лишь в ортодоксальной среде.

впадинами, стучали беззубыми челюстями: «Ты наш, наш! Помни заветы твоих предков, блюди эти заветы!»

Мою жизнь, чудом зажженную, каждое мгновенье вихрем колеблемую, вот-вот потухнуть готовую, — жизнь, у которой свои замыслы, своя правда, свои грезы, я обязан связывать еще с миллионами могил, в веках вырытых.

Нет, не из могилы, — из жизни пришел я и для жизни.. Не пойду с мертвецами...

Но то, чего не могли сделать мертвые, сделали живые.

В следующем году мне довелось провести зимою около двух месяцев в деревне, прилегающей к еврейскому местечку.

Местечко. Крохотные, вылепленные из глины домишки. В окнах вместо стекол рваная бумага... Кой-где из печных труб подымается дым, словно бессильная отместка гневному морозу.

В Киеве — биржевые бюллетени о повышении или падении курса на ценные бумаги, а здесь — у термометра, висящего наружу, на одном из окон аптеки, сбилась кучка одетых в рвань людей, со страхом замечающих падение температуры на три градуса. Еще на три градуса! Мало Тебе, Господи, вчерашнего мороза, — от щедрот своих еще надбавил. — Вот он, биржевой бюллетень нищеты.

Базарный день. Из окрестных деревень крестьяне доставили всякую живность и плохо смолотую ржаную муку. Лошади распряжены, высоко подняты оглобли. Промеж крестьян снует, вьется голодная еврейская беднота, не удастся-ли что нажить на перекупке. Неистово торгуются, переругиваются, получают пинки. Базар подходит к концу, а ничего не нажито, — даже на селедочные головки для жены и ребят. Снова пристают к крестьянам. Те, потеряв терпение, гонят их: «Геть бо! И без жида базар обойдется». С досадой вертят в руках самодельные чахоточные палки и с понурой головою плетутся домой с пустыми руками и не менее пустым брюхом.

Ничего не нажила и обмотанная тряпьем торговка солеными огурцами; продала за весь базар не больше трех десятков. Около нее трется. дрожа от холода, мальченка — внук. С жадной тоскою не может он оторвать глаз от зачаровавшей его бадьи с огурцами. Бабка давно уже заприметила тоскующие глаза своего любимца — и в жертвенном порыве сует ему соленый огурец в руку, а немытым, долж-

но быть с Пасхи, пальцем лезет ему в рот, чтобы не пропадали капли рассола.

— Эх, ты, ласунчик мой, ласунчик (лакомка)! — приговаривает бабка с нежностью.

Послушай ты, изучающий право, юридические нормы, статьи законов, — неужели ты серьезно думаешь, что ими облегчишь человеческое горе?..

Смотри, какое оно жуткое:

«Бедность голодная, грязью покрытая,
Бедность несмелая, бедность забитая...
Днем она гибнет и в полночь, и за-полночь. —
Гибнет она — и никто нейдет на помочь.
Гибнет она — и опоры нет волоса,
Теплого сердца, знакомого голоса»*).

Пусть ты не признаешь голоса крови, пусть тебе с детства ближе русская стихия. Но разве ты не знаешь, что «людям, распявшим Христа», ненавидящим будто бы народ, среди которого живут, — редко когда пожелает помочь не еврей?

Ты, в тринадцать лет познавший вместе со всей семьею бедность, горделиво прятавшуюся — неужели ты отвернешься от нужды целого народа, дабы не оскоромиться «национализмом»? Разве ты забыл укоряющий зов пророка:

«Если не ты за нас, то кто же? Если не теперь, то когда же»?

*) Никитин, «Портной».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

А крестьянство?

Я наблюдал его изо дня в день. Первая встреча произошла в просторной конторе. Вошло их человек пять — и сразу стало тесно. На каждом одежда всех четырех времен года: тут и весна и лето, осень и зима — иначе замерзли бы. На ногах сапоги негнущейся кожи, каблуки подбиты крупными гвоздями: то-то конторский пол в выбоинах.

Вошли и застыли у порога: не для того ли, чтобы можно было отступить с более коротким срамом в сени, если прогонят.

Сгорбленные от тяжелого труда, суровые на вид, потому что никогда не знали длительной радости, постоянно томимые серой думою о черной земле — скудной их кормилице.

Никому из горожан не доверяют: везде и во всем викят ловушку, подвох. Когда заговорят, то как то путанно, с нарочитою заминкою, чуть ли не с заиканием. Между тем, со своим братом разговаривают плавно, за словом в карман не лезут.

Конечно, не может быть косноязычен народ, создавший изумительную поэзию, со скупыми прилагательными и еще более скупыми причастными формами. Даже крупные мастера слова не всегда выходят победителями из борьбы с этими паразитами. А крестьянин одолел их.

Не косноязычно крестьянство, если даже женщины, приниженные и смертным боем битые, сложили песни про свою долю, равных которым не найти у лучших поэтов. Достаточно напомнить щемящие сердце стихи: «Калину с малиной вода поняла, — На ту пору матушка меня родила, Не собравшись с разумом, замуж выдала на чужедальнюю на сторонушку. Чужая сторонушка без ветра сушит, чужой

отец с матерью безвинно крушит». И так далее до печальных заключительных строк о превращении за три года замужества в старуху, неузнанную даже матерью.

Крестьянин — умница из умниц, но прикидывается дурачком, дает раньше выболтаться «барину», а барами он считает всех, кто не крестьянствует.

Он зовет священника крестить, хоронить, но только порядка ради: нигде нет столько сект, как в русском крестьянстве. Баре ему ни к чему: все, что нужно для неприхотливой жизни, создает он сам, — от господской культуры он получил лишь вонючую керосинку и линючий ситец.

В период 1905-1906 г. г. крестьянское восстание охватило триста уездов в сорока семи губерниях. Было разгромлено свыше т ы с я ч и помещичьих усадеб, перебит племенной скот, сожжены ценные библиотеки, картины, уничтожены музыкальные инструменты.

Характерно, что в воззваниях того времени крестьянство требовало не только отдачи ему всей земли, но и изгнания землевладельцев: пусть, мол, не мозолят глаз.

Неизбежная трагедия: когда палка сильно перегнута в одну сторону, приходится, чтобы выпрямить, сильно гнуть ее в противоположную (Прудон).

То же погромное, а не революционное движение повторилось и в период 1917-1918 годов.

По своей затаенной неприязни к интеллигенции крестьянство ушло недалеко от того околоточного надзирателя, который ошарашил меня однажды своим циничным, но нелишенным остроумия, ответом.

Это было в начале девяностых годов, когда я только что начал адвокатскую работу. Я шел в суд. Вдруг из-за угла появилась толпа человек в сто, окруженная цепью полицейских приставов, околоточных надзирателей и городовых. Среди арестованных я заметил товарища по адвокатуре. Размахивая высоко шапкою, он мне крикнул: «похлопочите за меня, — зря забрали».

Я спросил у одного из околоточных: «Куда вы их ведете?»

— Куда? Туда, где соединяются пролетарии всех стран, — в тюрьму.

Не забуду и смутившего меня отзыва деревенского парня, работавшего, по окончании страдной поры, в извощиках в «Питере».

Это было 17 октября 1905 года — день «д а р о в а н и я» хоть куцой но, все же, конституции.

Погода была для петербургской гнилой осени на редкость солнечная. Весь Невский проспект залит народом; ни проехать, ни даже пройти. Всюду красные флаги. На балконах, как общественных, так и частных домов «ораторы», выкрикивающие что-то восторженное. — Да к чему слова, когда они, все равно, не в силах были отразить общенациональный под'ем.

Извощик, полуоборотившись ко мне, сказал с усмешкою: «ишь, как господа радуются».

— Как это господа? Не одни они радуются, — радуетесь, небось, и вы.

— Мне-то чего радоваться? Хозяину три с полтиной, хоть тресни, а привези, да глазастый фараон (городовой), чуть что не так, запишет номер, — все, значит, будет по старому.

Крестьянин всегда кормился плохо, а в награду за это, небо зачастую посылало ему неурожай: тогда он ел лебеду, всякую сорную траву — и умирал. Тогда же сердобольные горожане отправлялись, как в экспедицию, в деревню и кормили народ, а газеты описывали голод, хотя сытому человеку не изобразить голодных мук.

Императора Александра III раздражали упоминания в печати о «голоде», как слове, выдуманном теми, кому жрать нечего. — Он высочайше повелел заменить слово «голод» словом «недород». Главное управление по делам печати разослало незамедлительно строгий циркуляр.

Нечего себя обманывать: всегда были две России.

Одна — с «Боже, царя храни» или «Долой самодержавие», с тюремщиками и жертвенной интеллигенциею, разбившей свою личную жизнь, чтобы из осколков ее склеить народное счастье. В награду упреки: слово у нее не слито с делом.

Нашли чем корить! — Хорошо, что не слито. Когда на протяжении русской истории они сливались, — то ничего, кроме пресловутаго государева «с л о в а и д е л а» с бесчеловечными пытками, не получалось.

Для судеб родины лучше было, что одни служили смелому слову, а другие — освободительному делу.

Другая Россия: внешне-смиренная, как будто покорная, физически близкая, но духовно далекая, непримиренная и,

вероятно, еще надолго непримиримая, — Крестьянская Россия.

Роевая сила, создавшая великое государство, — она по непостижимой смиренности своей удовлетворялась в области политической и социальной ролью об'екта власти, а не суб'екта ее.

Лучший после Некрасова поэт (А. Блок) написал о России, в приступе отчаяния, гневные строки:

«Знала-ли что? Или в Бога ты верила?
«Что там услышишь из песен твоих?

«Чудь начудила, да Меря намерила
«Гатей, дорог, да столбов верстовых».

Что там услышишь из песен твоих? — Да хоть бы вот что:

«Скричат калики зычным голосом —
«С теремов верхи повалилися,
«А с горниц охлопья попадали,
«В погребах питья всколебалися».

(«Духовный стих о сорока каликах со каликою»).

У крестьянства были свои цари — Емелька Пугачев и Стенька Разин. Именно Емелька, именно Стенька, а не Емельян Иванович и не Степан Тимофеевич. Дорогих и любимых не величают промеж себя по имени-отчеству.

Гимн крестьянства не «Боже, царя храни», а «Вниз по матушке по Волге».

Посвящен этот гимн не царям с царицами:

«На корме сидит хозяин, сам хозяин Стенька Разин».

Тот самый Хозяин, который со своею безоружной, голой и босой армиею дошел чуть ли не до Москвы.

Напрасно политиканствующие дурачки и ханжи пытаются изобразить русскую революцию, как инородческую. — Русская революция национальнейшая из национальных и суровость ее тоже национальная.

Там, где долго льются слезы, неотвратимая расплата — кровь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Киевский университет. С ним связана лучшая пора моей жизни, хотя поступил я при новом, мундирном уставе (1884 г.), с его учебной полицией — инспекторами и суб-инспекторами.

Главная радость: располагай своим временем, как знаешь; посещай лекции, какие хочешь.

Целый городок, с населением свыше шестисот душ. Большие светлые аудитории, расположенные амфитеатром. После гимназического карцера за курение — через три только месяца — особая, громадная курительная. Дым в ней коромыслом, лиц не видать (это хорошо — не все лица, в особенности глаза, приятны), но голоса звонки,— словно настраивается многозвучный оркестр.

Первые два месяца, чтобы познать профессоров-юристов, я посещал лекции всех четырех курсов. Выдающихся, среди профессоров оказалось четверо: М. Ф. Владимирский-Буданов, В. И. Демченко, Д. Г. Тальберг и Н. К. Ренненкампф.

Особым уважением и любовью пользовался проф. М. Ф. Владимирский-Буданов. Это был ученый европейского масштаба. Его лекции по истории русского права сжатые, насыщенные богатым содержанием, где не было ни одного лишнего слова, — усердно посещались даже ленивыми. В нем нас пленяло все: ушедший внутрь себя, никого невидящий взгляд, точное слово, охватывающее мысль, как перчатка руку (у большинства профессоров речь напоминала однопалую рукавицу); интимный, как бы созданный для дружеской беседы, голос. Одна хрестоматия памятников древнего русского права с его толкованиями чего стоит: и по сей день нет другой такой книги.

Демченко был обстоятельный, хорошо знавший свое дело, старик — милый и доброжелательный.

О Д. Г. Тальберге, профессоре по кафедре уголовного права и судопроизводства, нельзя вспомнить без грусти. Одаренный, любивший свой предмет ученый, он не успел выявить отпущенных ему природою возможностей: еще в юности заболел тяжелой формою чахотки; его постоянно трясла лихорадка и все недолгие годы прошли в борьбе с повышенной температурою.

Блестящим лектором был наш ректор — профессор по кафедре энциклопедии и философии права Н. К. Ренненкампф. Однако, его невысокая нравственность, отсутствие самоуважения, непобедимая склонность к интригам сводила на нет его талант. Не знаю, как в области точных наук, но в области художественной литературы и гуманитарного знания (юридического или исторического) плохой человек не может создать ничего значительного.

Как через загрязненные стекла фонаря плохо пробивается даже электрический свет, так и в бессовестной душе не выявиться в полной мере таланту.

Впрочем, я, быть может, несправедлив к Ренненкампфу по личному мотиву. Я заявил ходатайство о предоставлении мне стипендии. Согласно университетским правилам, претендент на стипендию подвергался особому собеседованию (коллоквиуму) по двум предметам. На втором курсе такими предметами были история русского права и энциклопедия. По русскому праву коллоквиум сошел хорошо, а по энциклопедии Ренненкампф осыпал меня на ходу к дверям комплиментами и заверил, что стипендия за мною. Надо было открыть двери. Естественно, что это должен был сделать я и пропустить вперед старика, как пропустил бы вперед любого старшего товарища. Но меня вдруг уколола мысль: нет, это невозможно, — сейчас я проситель, а он — источник милости. Я отступил назад. Реннекампф, полуобернувшись, метнул на меня злобный взгляд.

Через три-четыре дня я узнал, что стипендия моя приказала долго жить: только за то, что я не открыл двери.

Нет, человек он был не из важных.

Студенты моего курса — народ милый, но не очень утруждавший себя науками. Те, кто подаровитее и нетерпеливее, вылетели из университета, за малыми исключениями, втечение первых двух лет: кто — за участие в студенческих беспорядках, — кто — «за политику».

Мне доставляло особое удовольствие представлять себе какими мы будем через несколько лет: этот будет ходить бритым до глубокой старости, другой — заведет важные баки, третий — изящную бородку, а четвертому быть с густою, путанною бородою.

Первый будет неумолимым прокурором, второй — председателем, с тяготением к обвинительному напутственному слову присяжным заседателям, третий — защитником крупных банковских хищников, четвертый — сгниет в уездном захолустье судебным следователем по особо-пустяшным делам.

Всякого жита было у нас по лопате, — но добрых, жалостливых людей мало, обидно мало.

За что погубили своего товарища?

Лекции по некоторым предметам мы слушали вместе со студентами, поступившими еще при старом уставе.

Им было разрешено ходить в штатском платье и доучиваться по старым правилам.

Один из них взялся за издание лекций, если не путаю, по русскому праву. Собрал с нас денег рублей полторастадвести. Выпуск лекций затянулся — студенты начали раздражаться.

Хотя и с большим запозданием, он явился в университет.

Взошел на кафедру. Полунищенское платье. Тусклые глаза. Небольшая, мятая-перемятая бороденка. Цвет лица землисто - серый, какой бывает у изголодавшегося человека.

— Я, — начал он, — принес пока по три листа на человека. Не успел. Остальные доставлю на днях.

Едва произнес он эти слова, как аудитория завопила сотнею голосов: «Как по три листа! Их должно быть не менее сорока. Просвистал наши деньги!»

Кричали почти все, выпаливали бранные слова, кто во что горазд.

Он еще более потемнел.

— Дайте, товарищи, слово сказать... Не хотите ждать... Я вам после-завтра принесу деньги... Я не вор... Я только запутался.

— Ого, сознается, что промотал! — Огдам!.. Откуда ты их достанешь? Вон из университета! Сейчас подай заявление об уходе. Нам воров не надо!

— Дайте слово сказать... Я не такой плохой, как вы думаете, товарищи!

— Не смей называть нас товарищами. Вор нам не товарищ!

Без слов делал он движения руками. Как будто плыл против громадной волны. Перекатила через голову. Вынырнул. Волна жестокой брани опять его поглотила. Стало страшно... Я вскочил. Начал кричать:

— Денег вам жалко, а человека не жалеете. Вы хуже его, — вы звери!

В общем вое терялся мой голос.

Один из ближайших соседей кинул мне сердито: «Полегче! Соскучился по плюхе?»

Я бросился к кафедре. — Не подступиться: перед нею кучка студентов, угрожающих растратчику кулаками.

Через несколько минут вошли сторожа с растерянным суб-инспектором. Окружили затравленного и вывели в коридор. За ними толпа озверелых людей, свистящих и улюлюкающих. Они поглотили печальное шествие. Добродушные за час до того лица стали неузнаваемы.

Все же было ясно, что, как только выйдут на улицу, остынут и рассыпятся.

Но что будет с т е м ? Что-то говорило мне, что такого позора ему не снести. Он не бесстыжий, а только несчастный. Бесстыжий не стал бы оправдываться, — после первых ругательных слов пожал бы презрительно плечами и сошел бы с кафедры.

Нет, он этого не снесет. Надо к нему домой, чтобы не оставить наедине с самим собою хоть в первые часы. Пошел в канцелярию за адресом. Там все побросали места, сбились в кучку, взволнованно обсуждая «скандал». Добиться у них справки удалось лишь через минут двадцать. Оказалось, что ехать надо в конец города. Когда я добрался, сердце екнуло: у ворот стоял городовой и кучка народу. Я прошел во двор.

В жалком домишке, в комнатушке, еще более жалкой, — кухонный стол, один стул и кровать с согнувшимися от времени железными прутьями.

На соломенном мешке, с грязной подушкою в головах, лежал наш товарищ.

Лицо его было спокойное, отдыхающее. В виске небольшое отверстие, — под ним, на щеке, немного крови.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Все же, сердечных людей встречал я всюду, — даже там, где менее всего ожидал их найти. Кстати: отчего даже злые люди стараются казаться добрыми? Без большого спроса на этот товар кому охота насиловать себя?

Помню одну из своих юных защит.

Судилась шайка опасных воров, работавших с оружием в руках, — но, к счастью, ни разу в ход его не пустивших. Такие кражи именовались в уложении разбоем.

Защищал я главаря шайки Червинского (однофамильца моего товарища — оттого помню фамилию) и его сожительницу.

На скамье подсудимых они были рассажены в разных концах, соответственно серьезности их ролей.

Червинский, красивый парень, с иронической улыбкой, с вежливым, но презрительным по звучанию словом.

Принадлежал к старинной служилой семье. На пятнадцатом году сбежал из дому, — не по душе была домашняя и школьная дисциплина.

Он признал себя безоговорочно виновным, но назвать соучастников отказался (судилось вместе с ним свыше 20 человек). Старательно выгораживал свою сожительницу.

Во время судебного следствия вел себя скучающе, не вмешиваясь в допрос свидетелей. Только раз он вскипел. Давал показание ловкий, понажившийся ходатай по делам. По его словам, воры унесли из взломанного ящика письменного стола свыше полутора тысяч рублей, принадлежавших, де, его доверителю такому то.

Червинский поднялся: — У меня вопрос этому свидетелю. Можно?

— Спрашивайте.

— У вас, помнится, несгораемый шкаф, которого мне не

удалось взломать. Почему свои деньги вы держали в этом шкафу, а доверительские — в письменном столе? Помню отлично, что в столе денег не было.

Свидетель замялся, подыскивая ответ.

Червинский поспешно: — Должно быть потому, что вы — честный человек, а я вор!

Дело шло дня три-четыре. Когда старшина присяжных заседателей оглашал ответы на многочисленные вопросы о виновности, касавшиеся Червинского, он слушал равнодушно. Но когда дошло до вопросов об его сожительнице, он побледнел и заволновался. Сожительница была оправдана по всем пунктам.

Червинский, обернувшись в ее сторону, стал радостно крестить воздух. Между тем, это решение обусловливало их разлуку навсегда.

Когда коронные судьи удалились для определения наказания осужденным, Червинский стал горячо благодарить меня за успешную защиту его сожительницы.

Я осторожно заметил, что ему, вероятно, будет тяжело без нее в ссылке. «Впрочем, — добавил я, — она пойдет за вами добровольно».

—Я ей это запрещу! Зачем ей пропадать со мною в ссылке? Рад, что присяжные освободили ее от меня. Разлука пойдет ей на пользу, — погорюет и забудет. Может быть, встретит какого нибудь честного человека, вроде того ходатая, который, прикрываясь моим именем, обворовал своего клиента, — и заживет спокойной жизнью. А я... я не смирюсь, докачусь до каторги.

Еще одна встреча.

Вскоре после февральской революции я был назначен Временным Правительством председателем чрезвычайной комиссии по исследованию злоупотреблений в морском ведомстве. Недели через три пришла длинная телеграмма из Одессы, что необходим мой приезд по делу о командире одесского порта — адмирале Хоменко.

Я организовал на месте большую комиссию из представителей всех партий, в том числе и от большевиков. От них явился матрос с наганом на поясе. Стали меня предостерегать не только офицеры, но и многие из матросов: «быть беде, — с ним не совладать! Даже на корабельные собрания является с наганом: вот мои мандаты! Разбойник!»

На проверку оказался рассудительным и, при том, с отзывчивым сердцем.

При первом же свидании, я позвал его и других матросских представителей к себе в кабинет и сказал:

— Давайте, поговорим на-прямики. Я знаю: революция не нежничает и применяет одно лишь наказание — могилу. Я приехал, чтобы вместе с вами разобраться в деле, но не мстить слугам царского строя. Если Хоменко не виноват в пред'явленных к нему ч и с т о - у г о л о в н ы х обвинениях, он должен быть оправдан, не считаясь с неприязнью к нему за крутость по службе. Если вы чувствуете, что не можете совладать с враждой к Хоменко, скажите мне — я уеду; своей руки к неправосудию не приложу.

Не успел я окончить, как «разбойник» в ответ: — Ясное дело, судить будем по совести!

— Отлично. Затем, вот еще что. Я всю жизнь был защитником, — у нас в комиссии нет ни прокурора, ни защитника, — значит, мы должны быть тем и другим. Хотя адмирал достаточно интеллигентен, но помните: чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Будем разбирать дело так, как если бы судился матрос.

Работа комиссии продолжалась долго. Хоменко оказался не из орлов, притом робел и обнаружил плохую осведомленность в хозяйственных делах.

Я наблюдал матросов: они принимали живое участие в допросе как Хоменко, так и свидетелей — и никто из них не проявил ни каверзности, ни попытки задеть самолюбие нелюбимого адмирала. За то с большим удивлением и возмущением наблюдал, как двое из подчиненных адмиралу офицеров сводили с ним в показаниях счеты.

Тут уместно отметить, что во время работы по делу Хоменко меня посетил в помещении комиссии старший лейтенант с дунайского фронта (командующим там был генерал Щербачев). Воспроизвожу, почти дословно, мое об'яснение с этим лейтенантом.

— Я арестовал и привез сюда капитана 2 ранга такого то. Он — ярый монархист и своими речами смущает офицерскую молодежь.

— Чрезвычайная комиссия, председателем которой состою, не ведает политических дел, а лишь исследует дела о хищениях во флоте. Разрешите, г. лейтенант, спросить: вы то сами давно состоите в республиканцах? Не с марта ли?

Возвращаюсь к делу Хоменко.

Долго длившееся тщательное расследование пред'явленных к Хоменко обвинений окончилось. Надо было решать вопросы об его виновности.

Я сформулировал обвинительные пункты и стал отбирать голоса по каждому из них, прося высказаться вкратце о мотивах.

Вдруг «разбойник» прервал меня: — Что там хороводиться? Мы промеж себя столковались, надо этого... (следует крепкое слово и сейчас же извинение в том, что оно сорвалось), надо Хоменку оправдать начисто: нет хвактов.

Так и решили.

Таким оказался «разбойник», как судья.

А вот то, что не вправе забыть и не забываю.

Жена моя, перенесшая в Петербурге тяжелую болезнь, находилась несколько месяцев в Ялте. Мы ежедневно беседовали на письме. Вдруг более недели от нее ни слова. Я запросил телеграммою знакомого в Николаеве. Он сообщил, что всякое сообщение с Ялтою прервано.

Это меня сильно взволновало — и, по своей впечатлительности, не умел скрыть волнения как следует. Зашел ко мне в кабинет, не постучавшись, «разбойник» и застал врасплох.

— Чего орел наш закручинился?

Я ему рассказал и об'яснил, что главная беда в том, что в Ялту не проехать, а забрать жену надо поскорее: кто его знает, как развернутся события.

— Только это. Пустое. Завтра рано поеду в Ялту на автомобиле и доставлю сюда ваш клад.

— Значит, завтра едем вместе. Горячее спасибо.

— Нет, вас не возьму, — вы испортите все дело. Сами знаете, какое время. Барина в два конца мне не провезти. Ну, а женщину, если не расфуфырится, провезти с'умею.

Я вынул бумажник:

— Вот деньги для жены, а это вам на расходы, — путь дальний!

Мой «разбойник» рассвирепел и злобно, повысив голос, сказал:

— Ты орел, но и я не ворон, — разве за такое дело берут деньги... Пишите жене записку, чтобы доверилась мне.

В городе стали говорить «Это сумасшествие — доверить

жену пьянице матросу, — да еще большевику: по дороге изнасилует и убьет».

Я спокойно отвечал:

— Меня трогает, что вы любите мою жену еще более, нежели я. В моем матросе уверен, — не знаю, почему вы его зовете пьяницею, — пьет, вероятно, как все моряки, но пьяным за целый месяц не видел его ни разу.

Не прошло и двух недель, как к под'езду дома, где я жил у дочери, подкатил на автомобиле «разбойник» с моей женою.

Жена пошла умыться с дороги и только успела сказать мне: «какой замечательный человек этот матрос. Иди сейчас к нему, — он может обидеться».

Матрос уже сидел в столовой, а дочь ставила на стол закуски и вина, торопила кухарку с обедом.

Он с тоскою сказал мне: «Вина да вина... Разве это матросу питье. Скажите дочери, чтобы дала графинчик водки».

Дочь быстро исправила ошибку.

— Ну, вот, это по нашему. За ваше здоровье, хозяюшка. Выпью один — орлы водки не потребляют.

— Сегодня выпью и я, чтобы с тобою побрататься.

Мы обнялись.

Наскоро освежившись, вышла жена и стала весело рассказывать, как в Ялте к ней явился матрос с моей запискою. Посмотрел на корзину, чемодан и сказал:

— Корзина и чемодан. Это хорошо, что вещей не много. Собирайтесь поскорее, — через полчаса заеду за вами, — терять время нечего.

«Путешествие наше, — продолжала жена, — было трудное: где водою, где по железной дороге, где автомобилем. Приехали, помню, в Николаев часа в два ночи. Никого из твоих товарищей будить не решалась. Заехали в гостинницу. Она оказалась переполненною матросами и солдатами. Среди них не мало пьяных. Я сразу заперлась в номере. Через час вышла в уборную. Смотрю, он марширует взад и вперед.

«Отчего не ложитесь?» — А он в ответ:

— Видите, какой народ здесь подобрался: того гляди взломают вашу дверь.

Так и промаршировал всю ночь».

Стыдно: побратался с человеком, а как его звать, за двадцать лет забыл. Это каприз стариковской памяти, но в сердце своем храню его образ благодарно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Осенью 1889 года я сдал экзамены в государственной юридической комиссии, впервые тогда введенной.

— Это последний экзамен в моей жизни, — крикнул я весело товарищам, бросая в окно листки лекций по полицейскому праву.

Последний экзамен? Только с той поры и пошли непрерывные, без отдыха и срока — беспощадные экзамены. К ним я был плохо подготовлен.

Через несколько дней после экзаменов повстречавшийся со мною в университете профессор государственного права А. В. Романович-Славатинский, весельчак и балагур, — с ужимками сообщил мне:

— Очень жаль. Вчера мы обсуждали предложение Дмитрия Германовича (Тальберга) об оставлении вас при университете и командировании за-границу для подготовки к профессорскому званию. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Оставляя вас, мы бы создали небывалый прецедент в истории юридического факультета нашего университета. Между тем, сделав нужный шаг для перехода к нам, вы лишь умножили бы и без того немалочисленные прецеденты еврейского просветления. Теперь — хе-хе! — слово за вами.

И, подмигнув плутовато единственным зрячим глазом (другой вытек у него от неосторожности еще в детстве), понесся дальше по коридору.

Я вышел в университетский сад. Позднее солнце спешно перебирало золотыми щупальцами кучки опавших листьев. По влажным дорожкам несогласно бродили распадающиеся пары, обмениваясь, при встрече одна с другою, безмолвным выражением сочувствия по поводу неожиданно скончавшейся любви.

Вдалеке, позади оранжереи, свистел, похваливая университетское болотце, кулик.

Я глубоко вдыхал сыроватый воздух поздней осени и без горечи, почти весело думал: Кафедра... уголовное право... сто тысяч сто первая диссертация о свободе несвободной воли... Отыскивание секрета нежестокой жестокости наказания, — что-то в роде рецепта по изготовлению горячего льда. Ничего... Обойдемся. Куда интереснее драться в судах. Там, по крайней мере, меньше ханжества.

— С одной стороны, — прокурор, ненавидящий преступление в пределах последнего циркуляра начальства; с другой, — адвокат, жалеющий клиента на точном основании доверенности. Не беда — обойдемся.

А через 5-6 дней, 9 ноября, я прочел в местной газете телеграмму из С.-Петербурга: «Принятие в число присяжных и частных поверенных лиц нехристианских исповеданий производить не иначе, как с разрешения министра юстиции».

Я читал, перечитывал поразившую меня телеграмму. Переставлял слова, отыскивал в них хоть какой-либо просвет. — Ясно: гроб.

Куда деваться?

Снабженный рекомедациями профессоров, я решил искать счастья в Петербурге. Не удастся — думал я — записаться в помощники присяжного поверенного (о них в запретительном законе ничего не сказано), займусь журналистикою.

Петербургский Совет присяжных поверенных, равно как и орган надзора за ним — Судебная Палата истолковали новый закон в его буквальном смысле. Я поступил в помощники к талантливому и сердечному присяжному поверенному Петру Гавриловичу Миронову.

Звание помощника, само по себе, никаких прав на судебную практику не предоставляло, — оно было лишь адвокатским ученичеством. Защита же по уголовным делам разрешалась законом всякому гражданину, не лишенному по суду прав состояния.

В этом звании я пробыл 1 6 л е т, несмотря на представление обо мне С.-Петербургского Совета присяжных поверенных министру по истечении установленного пятилетнего стажа: ни один еврей не был утвержден.

Все это личное и как оно ничтожно по сравнению с тем

острым, гордым ощущением, какое давал этот единственный в мире город.

Какой-то заносчивый иностранец написал о нем: «Как можно жить в городе, где мостовые всегда мокры, — а сердца всегда сухи».

Насчет мостовых, единственно доступных его пониманию, замечание правильно, но насчет сердец...

Какое дело животворящему русскому духу до царей и их правительств!

Были в С.-Петербурге две силы, непрерывно творившие новую, лучшую жизнь, ни на чем не успокаивавшиеся, никого и ничего, кроме своей совести, не боявшиеся: интеллигенция и рабочие.

Их можно было гнуть, но сломать было невозможно. Нельзя было заставить ползать на четвереньках тех, кто выпрямился во весь рост.

В С.-Петербурге три памятника, священных для всей России: памятник Петру, Сенатская площадь и площадь Казанского собора.

Петр поднял на дыбы загнивавшую Московию; на Сенатской был зажжен декабристами неугасимый протест против самодержавия; на площади Казанского собора — кровь студентов, курсисток и рабочих.

В своих «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненков, описывая как однажды проводили лето под Москвою, в Соколове, Герцен, Грановский, Кетчер, Некрасов и др., — замечает: «Круг этот, важнейшие представители которого на время собрались теперь в Соколове, походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех членов, рассеянных на пространной земле нашей».

Вот именно: рыцарский орден! Он проявлял себя во всем и всюду. Буду конкретен, — расскажу по порядку, как раскрывался мне Петербург:

Раньше всего я узнал суд и адвокатуру.

Из всех реформ Александра II самая важная, если не считать освобождения крестьян от крепостной зависимости (она стоит особо), судебная реформа.

Если хочешь правильно оценить исторический институт, то надо судить по его толще, а не досадным наростам, не изменившим его сущности.

Такого суда — говорю без преувеличения — не знала Западная Европа. До закона 18 марта 1906 г. о передаче в Особые Присутствия судебных палат политических дел, — закона, повлекшего за собою назначение судьями всяких угодливых карьеристов, русские судьи были подвижниками.

Жалованье нищенское, — любой акцизный (по питейным делам) надзиратель получал много больше. Между тем, работа была каторжная: какой там восьмичасовой рабочий день! — Не менее 14 часов в сутки, а зачастую — восемнадцать.

По уголовным делам, с участием присяжных заседателей, слушание дела прерывалось лишь за-полночь, чтобы сократить число ночевок присяжных в здании суда. По возвращении домой, у судьи новая работа: проверка протокола судебного заседания, изложение приговоров в окончательной форме.

Не легче было и по гражданским делам: заседания в столичных судах кончались нередко во втором-третьем часу ночи. По возвращении судьи домой, та же возня с протоколами и еще более трудное и сложное изложение мотивированного решения.

За пятидесятилетнее существование судов по Судебным Уставам 1864 года случаев нарушения судебного долга по корыстным мотивам не наберется и десятка, — да и то из числа несчастливо выбранных земствами и городами мировых судей.

Помню каррикатуру в берлинском юмористическом журнале по поводу ареста архимиллионера из волков Овсяникова, обвинявшегося в поджоге своей мельницы с целью получения страхового вознаграждения. — Это было за много лет до моего переезда в Петербург.

Немцы, не допуская, что у «русских дикарей» может существовать истинное правосудие, изволили шутить: «В С.-Петербурге арестован за поджог восьмикратный миллионер Овсяников. — Скоро прочтем, что освобожден семикратный миллионер». Однако, прочли, что архимиллионер осужден и сослан в Сибирь.

Петербургская адвокатура моего времени не состояла из «Балалайкиных» (выражение Щедрина-Салтыкова), из людей с нанятой совестью.

В Петербурге это была, включая помощников присяж-

ных поверенных, трудовая громада в две тысячи без малого человек.

Жизнь их, за небольшими исключениями, была трудная, беспокойная.

Крупных адвокатов, с именем, занимавшихся уголовною практикою, было не свыше десятка: очень уже изнурительная, быстро изнашивающая нервы, была эта профессия. — Всегда на виду, беспрерывный экзамен на людях, напряжение способностей к экспромтам (как ни готовься, всего не предусмотришь), вечно купайся в людских слезах и горе.

Никакая другая профессия, даже врачебная, не знала такого громадного процента бесплатной помощи: защиты по назначению от суда, постоянные юридические консультации (кабинеты по оказанию юридической помощи беднейшей части населения), бесплатные советы у себя на дому, требовавшие нередко большого напряжения сил.

Затем, работа в качестве руководителей в юридических конференциях для помощников присяжных поверенных. Все помощники были разбиты на группы, во главе которых стояло по три присяжных поверенных, выделявшихся познаниями и опытом, — кто по уголовному, кто по гражданскому, кто по административному праву.

Посещение конференций было обязательно: каждый из помощников, подавший, по окончании пятилетнего стажа, заявление о приеме в присяжные поверенные, должен был представить удостоверение руководителей о посещении втечение двух лет конференций, о зачете трех письменных рефератов и о проведении десяти уголовных защит на суде присяжных.

Были созданы, по началу сословного самообложения, денежные средства для выезда адвокатской молодежи на защиту в уездных сессиях уголовного суда.

Своими судебными успехами я много обязан патрону своему П. Г. Миронову, А. Я. Пассоверу, знаменитому профессору по кафедре уголовного права сенатору Н. С. Таганцеву и тов. председателя С. - Петербургского Окружного Оуда Д. Ф. Гельшерту. Не будь их поддержки, я был бы вынужден бросить адвокатуру: нечем было бы кормить нашу большую семью. Доброе их ко мне отношение было тем трогательное, что по своему темпераменту, боевому характеру и неумению (скорее нежеланию) сглаживать острые углы, я нередко бывал несносен: часто влетал в «истории» с председательствующими, прокуратурою, а раз дошел до того, что назвал в письме к арестанту всесильного министра юстиции Н. В. Муравьева — «коммивояжером юстиции, вписывающим позорную страницу в славную историю русского суда».

Однако, все возбуждавшиеся против меня дисциплинарные преследования кончались оправданием, кроме одного — по известному делу Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве. Возмущенный лжесвидетельством жандармского подполковника Иванова, я назвал его в своем заявлени суду «бесчестным свидетелем». Против меня было возбуждено дисциплинарное преследование по месту совершения проступка, в Киевском окружном суде. Товарищи, да и я сам, были уверены, что я вылечу из адвокатуры, так как министр юстиции Щегловитов, проездом в свое черниговское имение, посетил стародубский окружной суд, где, в беседе с судьями упомянул, что я буду исключен за тяжкое оскорбление на суде жандармского подполковника Иванова. Об этом появилась телеграмма в петербургской газете «День».

В день слушания моего дела я приехал в Киев и, переодевшись в вагоне, отправился в общее собрание Окружного Суда.

Я проделал этот длинный путь, исходя из соображения, что немного найдется охотников жрать птицу, которой только что глядел в глаза.

Судей было свыше шестидесяти. Заседание шло торжественно и медлительно. Я сел на стуле у кафедры (потом мне говорили, что я нарушил обычай, по которому, из уважения к суду, привлеченные к дисциплинарке должны все время стоять).

Изворачиваться не хотелось, да и было бы бесцельно: я настаивал лишь на том, что жандармский подполковник Иванов, действительно, дал под присягой ложное показание. Я указал, что, может быть, не всегда удобно называть вещи их именами, но что моя суровая оценка этой лжи вопрос не столько юридический, сколько из области «Хорошего тона», в издании Германа Гоппе*).

*) Излюбленная мелкими чиновницами и манерничающими мещанками наивная книга — как держаться в «светском обществе».

Прокурор в своем заключении и не заикнулся об исключении, а только высказался за запрещение практики на 6 месяцев. Однако и это требование он пробормотал сконфуженно и с безнадежностью в голосе.

Дело окончилось пустяком — предостережением.

За петербургскую, московскую, да и вообще за русскую адвокатуру краснеть не приходится.

Я застал в живых главных творцов русской адвокатуры. Имена их приходят постепенно в забвение. А жаль: они должны быть закреплены в общественной памяти.

В стране, где, по слову Аксакова, было слышно одно лишь молчание, где говорить публично все равно, что совершать публично же непристойность, быстро выработалось образцовое судебное слово.

Королем судебных ораторов был В. Д. Спасович.

Он пришел в адвокатуру одним из первых и до конца своих дней оставался первым. Поляк родом, речь которого звучала не по-русски, а как перевод с польского, была исполнена необычайной, своеобразной красоты. Она звучала как жемчуг, падающий на серебряное блюдо.

Затем, П. А. Александров, сменивший службу в оберпрокуратуре сената на скромный адвокатский значек. Знаменитый защитник Веры Засулич, покусившейся по политическим мотивам на жизнь петербургского обер-полицеймейстера Трепова, он обладал умом мыслителя и словом, острым, как бритва.

Еще: умница из умниц П. А. Потехин, родом костромич. Он был, как большинство его земляков, драчлив и беспощаден, как полемист: не дай Бог задеть его — искрошит и испепелит.

За ним В. Н. Герард, изящный и красивый. Он дрался энергично, но с таким видом, как будто ласкал и нежил противника.

Рядом с ним А. М. Унковский. Старый общественник, он не отличался особыми талантами, но был стойкий, верный и не стяжательный. Единственная его слабость (результат дружбы с Щедриным-Салтыковым) — постоянное остроумничание, порою напряженное.

Сопоставление его с другим остроумцем — В. И. Жуковским — не в его пользу. У Жуковского был настоящий русский юмор — колкий, но незлобивый, без погони за эффектными словечками, под которыми обычно скрывается опустошенная душа.

Так же, как и Андреевский, он не задумался пожертвовать своим блестящим положением в столичной прокуратуре, отказавшись выступить обвинителем против Веры Засулич. Отказ этот был обусловлен не политическими соображениями, а моральными: обер-полицмейстер Трепов, высекший политического заключенного, поставил себя вне закона.

Войдя в адвокатуру, Жуковский очутился в беспомощном положении: уголовные защиты ему были не по душе, — пришлось ограничиться ролью гражданского истца в уголовных процессах. Он был разборчив до щепетильности — и никогда не ополчался против слабого, против случайного преступника. Бывали случаи, когда убедившись на суде, что доверитель его не прав, он чувствовал себя Молчалина глупее — бормотал и мямлил. Практическая жизнь не считается с совестью: запрягся — вези. Его стали обходить.

С присущей ему незлобивостью он в беседе со мною так характеризовал свое положение: «Беда с моей женою, никак ей не угодишь. Был я прокурором, придешь после процесса домой, а жена: «ну как?» — «Оправдали». — «Еще бы, с таким, как ты, оправдание неизбежно». Стал я защитником. — «Ну что? — «Обвинили!». А жена в ответ: «еще бы!» Я совершенно не понимаю ее: оправдали — плохо, обвинили — тоже плохо. Впрочем, что-ж это я вз'елся на милую женщину. — Не она, а жизнь сварливая баба».

Параллельно со Спасовичем стоял в общественной оценке А. Я. Пассовер.

По окончании московского университета, он был командирован за-границу для подготовления к профессуре. Он жадно «грыз гранит науки», не мог замкнуться в узкой специальности — и, благодаря исключительным способностям, стал хозяином во всех областях юридических наук. Вернулся в Москву и убедился, что академическая жизнь забрала круто вправо: кафедры еврею-юристу не видеть. Судебному ведомству в первые годы реформы были чужды национальные предразсудки: Пассовер очутился в одном из приволжских городов блестящим товарищем прокурора. Однако, пониженный уровень жизни захватил вскоре и судебное ведомство: еврей оказался не ко двору. Пассовер перешел в Одессе в адвокатуру. Там он сразу занял выдающееся положение, но одесский общественный уровень был не

для него. Уехал в Англию, где, благодаря знанию в совершенстве почти всех европейских языков, поступил в адвокатуру. Хотя он на всю жизнь влюбился в английскую культуру, — стал страстным англоманом — однако, его потянуло на родину. Записался в Петербурге в адвокатуру — и сразу стал непререкаемым авторитетом: посыпались дела и громадные деньги. Однако, это его мало удовлетворяло: настоящее его призвание была наука. Его не пустили в университет, — он создал собственный университет: юридические конференции. Его глубокие по содержанию и блестящие по форме заключения по поводу рефератов привлекали толпы адвокатской молодежи. Плохо слушали докладчиков, с нетерпением ожидая слова Пассовера. Как тароватый богач, он расточительно рабрасывал мысль и слово. **Но печатного следа не найти!**

На упреки он насмешливо отвечал: «я чином от ума избавлен, — зачем же мне из чужих четырех книг создавать свою пятую — плохую».

На юбилее Пассовера Спасович так его характеризовал: «Вы, Александр Яковлевич, скупой рыцарь, хороните свое несметное богатство в подвалах, — поделитесь с нами».

Тщетный призыв: у Пассовера была непобедимая страсть к умственному накоплению. — Его громадная библиотека — одна из лучших частных библиотек. На нее он не жалел средств. Чудаковатый, он, не доверяя антикварам, поехал раз в Америку только для того, чтобы разыскать нехватавший ему экземпляр редкой книги.

Одинокий, он приобрел репутацию себялюбивого человека, которому, будто бы, нет дела до других. Это — неверно: он был, на редкость, добрый и отзывчивый, но стыдился своей доброты, а потому не афишировал ее. Я это испытал на себе. После одного из моих рефератов, который, по обыкновению, Пассовер жестоко изругал, он зашел ко мне.

— Я пришел Вас предупредить: на-днях к Вам придет одесский богач Шполянский. Он за свое поведение в качестве поставщика морскому ведомству, угодил под суд. Дело его будет слушаться в севастопольском морском суде и протянется по моему подсчету месяца полтора.. Вот случай обеспечить себя года на два-три. Смотрите не проворонъте: назначьте ему такой то гонорар».

Пассовер назвал громадную цифру.

— Помилуйте, Александр Яковлевич, какой дурак даст начинающему стажьеру, широкой публике неизвестному, такие деньги?

— Какой дурак? — Тот, который верит моей оценке.

Даже ближайшие друзья мои не скрывали удивления по поводу неумеренного гонорара, продиктованного мне Пассовером.

В последние годы своей жизни Пассовер совершенно замкнулся, хотя, казалось бы, его прежняя замкнутость была исчерпывающею. Пассовер стал открывать свои двери только для молодежи.

Так прошла его долгая жизнь, о которой составилось неверное мнение. При внешнем головокружительном успехе он был, в сущности, несчастный: его необыкновенный по силе скептический ум выедал все самообманы и чарования, которыми красна жизнь.

Позднее пришел С. А. Андреевский: герой не моего романа — поэт среди юристов и юрист среди поэтов. Однако человек высокого душевного строя.

Близок к его времени Н. П. Карабчевский. Оценка его, как оратора, спорна, — между тем, бесспорны его заслуги в области ведения судебного следствия (допрос свидетелей, заявления по поводу отдельных судебных действий). Здесь он был новатором: стихийным инстинктом азиата (Николай Платонович — сын крымского полицеймейстера Карапчи, принявшего вместе с крещением, фамилию Карабчевский), он понял, что нельзя переносить центр тяжести на судебную речь. — Нельзя потому, что мнение судей, — в особенности присяжных заседателей, — слагается задолго д о р е ч е й сторон, стало быть, трудно переубедить своей речью. Карабчевский выявлял свой взгляд на спорные пункты дела еще при допросе свидетелей. Вопросы его, почти всегда, были клочками из предстоящей речи: оттого они длиннее и сложнее ответов свидетелей. Когда, затем, он произносил речь, она не звучала новизною: Карабчевский обкрадывал ее еще на следствии. — За то интересы подсудимого от этой ораторской жертвенности много выигрывали.

П. Г. Миронов был силен в защитах перед присяжными заседателями. Он заражал их своей добротою и жалостливостью: надо прощать согрешившего, ибо подвиг и пре-

ступление сопредельны, — все зависит от того, как сложилась жизнь подсудимого.

Из московских знаменитых адвокатов мне довелось слышать Ф. Н. Плевако.

Плевако — стихийный оратор, необыкновенной силы. Он никогда не писал своих речей, — самое большее, что записывал отдельные счастливые фразы. Тем сильнее было действие речей: они носили бурно-стремительный характер импровизации, захватывающей слушателей своей неожиданностью, — зачастую и для него самого.

Сблизился я с писателями. Славный народ! Сами не спят и другим не дают. Сплошное нарушение ст. 37 мирового устава о наказаниях: «Возбуждение беспокойства в умах, а равно причинение общей тревоги ударом в набат». Бьют везде стекла без опаски, что обыватель — того гляди — схватит насморк и так расчихается, что заслюнявит весь мир. Бьют стекла и вопят:

— Пробудитесь, увальни! Жизнь преинтересная штука, хотя бы потому, что дается один только раз. под непременным условием храбро ее защищать. Относитесь бережно к тому, что построено до вас, но разрушайте без колебания то, что отслужило и лишь глушит жизнь; стройте новое в необидчивом сознании, что и вами построенное пойдет со временем на слом.

С большинством писателей я познакомился у Марьи Валентиновны Ватсон. О ней особо. Два вечера в году — день ее рождения и день именин — обязательная прописка у нее литературных и общественных паспортов. Приходили к ней званые и незваные, лично ей неведомые друзья ее друзей. Попадали к ней по обязанностям нелегкой службы и агенты-провокаторы, пробиравшиеся во втором часу ночи, когда, за «бісовой теснотою» никто с нею не здоровался. Все комнаты ее небольшой квартиры в Озерном переулке были набиты человеческими телами, жавшимися друг к другу и жадно глотавшими воздух, проникавший с лестничной площадки и через открытые повсюду форточки.

Там я имел удовольствие познакомиться с провокатором Гуровичем. Отвратительная фигура, — шепелявая и картавая — угодливо лебезившая перед всяким и в то же время неумевшая скрыть, что, вот-вот, рассыплется вонючим фейерверком прирожденной и жирно вскормленной наглости.

Я сказал, что всюду в судебном ведомстве сидели хорошие люди. Печальное исключение, и то отчасти, составлял Сенат.

В первом департаменте его, ведавшем административные дела, заседали, по преимуществу, бывшие губернаторы, сломавшие карьеру на неограниченном произволе. — Засечет губернатор крестьян при усмирении аграрных беспорядков, — в первый департамент его! Измучает население самодурными придирками — убрать его туда же!

Попадались самодуры и в уголовном департаменте Сената, стоявшем, вообще говоря, на большой высоте. Один самодур Г. К. Репинский чего стоил. Крикун и ругатель, он председательствовал в четвертом отделении, куда передавались все политические и литературные дела. Выступать у него была мука; изругает ни за что, ни про что. Приходилось, чтобы не губить подсудимых, сносить безответно его оскорбления. Не щадил он никого, даже гордость судебного ведомства — В. Д. Спасовича. Раз я был свидетелем такой дикой сцены. Выступал Спасович. Едва он подошел к столу судебного присутствия (в старости слабый голос), как Репинский принялся его изводить.

— Не там стали, где надо, станьте вправо.

Спасович тяжело передвигается.

— Не так, станьте еще правее.

Старик опять передвигается.

— Да нет же, не так — очень уже забрались в сторону. Экий бестолковый!

Спасович, красный от обиды и негодования, вскричал:

— Ваше высокопревосходительство, — укажите мне такую точку в мироздании, став на которую, я был бы наконец выслушан Правительствующим Сенатом.

Только раз Репинский встретил энергичный отпор, приведший его в совершенное замешательство.

Прихожу в Сенат. В громадном кулуаре, откуда ход в залы судебных заседаний, сидит у стены лохматый старик со значком присяжного поверенного на престарелом фраке, в ночной сорочке, повязанной, вместо гастуха, черной тесемкою; на ногах порыжелые сапоги.

Вот невидаль!.. Подошел к нему, познакомился. Оказалось, живет в деревне, хозяйничает в своем небольшом дедовском имении, помогает безвозмездно юридическими познаниями крестьянам. Защищал в судебной палате кре-

стьян, обвинявшихся в аграрных беспорядках. Приговор состоялся суровый. Написал жалобу в Сенат и приехал ее поддерживать.

Я прошелся по кулуару, — вижу, из гардеробной, куда входит человек, а выходит громовержец в расшитом золотом мундире, грядет Репинский.

Встретиться с ним и пожать его два, милостиво протянутых пальца, охоты ни малейшей. Я ушел за перегородку отведенного для адвокатов закутка. Вдруг слышу рев Репинского. Я выглянул за перегородку.

— Встать.

— А зачем?

— Не видите, что ли, сенатор идет?

— Ну так чтож, что сенатор?

— Так чтож?.. Хорошо-сь, хорошо-сь. Сейчас увидите «так чтож», — и величаво проследовал через пустой судебный зал в совещательную.

Я к коллеге: «Выйдемте на минуточку на площадку, — неровен час вышлет сторожа, чтобы вас вытолкать».

— И не подумаю выходить, — я хоть и стар, но со сторожем справлюсь, не напрасно делаю в деревне всякую работу — нагулял кулаки.

Я стал около него в расчете, что меня сторож постесняется: как ни как, и в Сенате я пользовался признанием.

Но что это? — Проходит минута, другая, несколько минут: никого и ничего.

Вот тебе — «увидите, так чтож». Самодур осекся.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

БРЕД ВОЙНЫ.

I.

Полковник Мясоедов и братья Фрейберг.

В конце зимы 1907 года меня пригласили на защиту в виленском военном суде несколько лиц, обвинявшихся по ст. 102 угол. уложения — в принадлежности в сообществу, составившемуся с целью насильственного ниспровержения существующего строя и имевшему в своем распоряжении провезенные некоторыми из его сочленов взрывчатые вещества и оружие. Были найдены у них и тюки прокламаций.

Приехал в Вильну. Познакомился с делом. Навестил подсудимых. — Не понимаю ни дела, ни их.

Невежественные, неимеющие представления о партиях, о задачах, ими преследуемых. Двое сильно смахивают на рыцарей зеленой таможни: слишком типичны.

Спрашиваю про оружие, взрывчатые снаряды. — Отговариваются полным незнанием, предполагают недоумевающе: должно быть, подбросили.

Пришел день суда. Дело слушается при закрытых дверях. Прочли обвинительный акт. Началось следствие. Главнейшие свидетели обвинения —незначительные агенты охранного отделения — не явились. Неявка формально законна: проживают в другом судебном округе. Те, что явились, пустяковы и серы.

Защита — нас несколько (помню ковенского присяжного поверенного В. П. Шипилина, талантливого и милого) — ставит свидетелям вопросы для проформы и не слушает на них ответа.

Знаем заранее, что ответы будут такие же пустопорож-

ние, как и наши вопросы. И те, и другие, — словно легкий всплеск в заброшенном колодце, — еле доходят до сознания.

Читают, в перемежку с допросом свидетелей, протоколы обысков, осмотров отобранного. Читают показания неявившихся свидетелей.

Ползет, быстро наростая, скука, — опасный враг судебной работы. Опасный потому, что влечет за собою равнодушие и к подсудимым, и к истине.

— Сейчас пойдет интересное, шепчет, бросив взгляд в список свидетелей, товарищ-сосед.

— Сейчас жандармский офицер Мясоедов — свидетель «доброй славы» моего подзащитного: хорошо знает его по Вержболову.

Появляется Мясоедов.

Он дает прекрасную аттестацию вызвавшему его подсудимому.

У защиты зарождается надежда: авось, удастся добыть у него полезное для всего дела. Начинаем осторожно, словно ступаем босыми ногами по битому стеклу. Раньше, чем перейти к важным вопросам, надо схватить, уразуметь характер свидетеля. Вопросы идут от общего к частному, от безразличного к важному, постепенно с'уживаясь, — с таким расчетом, чтобы, в случае провала, интересы защиты пострадали в маловажных пунктах. По ответам складывается такое впечатление: скорее хитрый, нежели умный; старательно целится, но как раз, когда спускать курок, теряет прицел; несмотря на рыхлость, легко возбудим; говорит более того, чем хочет, и именно то, чего не хочет; чем то обижен.

Можно, стало быть, с'узить круг вопросов и смело перейти — с большими шансами на успех — к главным. Защита ставит их быстро и решительно:

— Проходили ли по вашим спискам наличные подсудимые?

Мясоедов горделиво: «Я служу по железнодорожной полиции, а не по охране».

— Именно потому, что вы стоите во главе п о г р а н и ч н о г о пункта жандармской полиции, у вас обязательно ведутся политические списки. Итак, проходили ли у вас такие то, и какова их характеристика.

Мясоедов: «Но, ведь, это служебная тайна, и я не вправе ее открывать».

Защита ссылается на решение Сената по делу редактора московской газеты Казецкого и просит председателя обязать свидетеля дать ответ.

Удивительное сенатское решение. Оно состоялось в наиболее реакционное время не только у нас, но и во всей Европе: в эпоху борьбы по делу Дрейфуса с ее печальным судебным зрелищем, когда генералы отказывались отвечать на важнейшие вопросы суда, прячась за служебную тайну, а некоторые даже за «даму под вуалью». Как раз в это время у нас, в России, проходит решение исторической ценности. Привлеченный по обвинению в клевете, редактор Казецкий вызвал, в качестве свидетелей, офицеров, входивших в состав суда чести по делу жалобщика. Ссылаясь на устав дисциплинарный, свидетели отказались от дачи показания о том, что происходило в закрытом заседании суда. Лишенный, таким образом, свидетелей, обвиняемый был осужден за клевету. Дело перешло в Сенат. Доклад был поручен А. Ф. Кони, приложившему к нему не только талант, но благородную настойчивость и большой служебный такт. Под его влиянием, обер-прокурор запросил мнение военного министра. Юрисконсульт министерства Лохвицкий написал блестящее заключение, в котором признал, что пред интересами правосудия должны склониться все остальные. Военный министр Куропаткин разделил эти соображения. Сенат преподал, что суду в его поисках истины не должна преграждать путь пресловутая служебная тайна. Однако, с передачею в 1906 г. в суды политических дел, это раз'яснение скоро было обращено в павлиное перо. Редко кто из гражданских судей с ним считался. Не считался с ним — увы! — и Сенат.

Только в военных судах встречались еще строгие законники, признававшие для себя обязательным преподанное Сенатом раз'яснение.

Таким законником оказался и наш председатель. Он признал уважительною ссылку на дело Казецкого.

— Если я не устраняю вопроса защиты, значит, он и законен, и относится к делу. Потрудитесь на него ответить. Защитник спрашивает: проходили ли по вашим спискам наличные подсудимые.

Мясоедов с минуту поколебался... Затем, его, будто, прорвало — и понеслись бурным потоком разоблачения, одно другого неожиданнее. Задаю вопросы решительнее.

— Нет, не проходили. Кой кто из них в подозрении

по контрабанде, но политических среди них — ни одного.

— Вы, вот, говорите — ни одного. Однако, нашли же у них тюки с прокламациями, оружие, взрывчатые вещества...

Мясоедов со смешком: — Нашли! И у меня могли бы найти.

— Ничего не понять: об'ясните.

— Игра простая. Кой кому из подсудимых агенты охраны сдали тюки для тайного провоза, не говоря об их содержимом, а другим — подбросили оружие и взрывчатые вещества при обыске.

— Кто же это сделал? Ваши люди?

— Мои люди таким делом не занимаются. Здесь работали люди ротмистра Пономарева, под его руководством. Он приезжал сюда...

— Вы сказали, что и у вас могли бы найти взрывчатые вещества, прокламации. Как понять эти слова: как стилистический оборот, или, как факт?

— От скуки мы, вержболовцы, ездим часто в Эйдкунен. Езжу и я. У меня там за долгие годы службы в Вержболове немало знакомых. Раз как-то, возвращаясь поздним вечером из Эйдкунена, я обнаружил в своем автомобиле взрывчатые снаряды и литературу. Это совпало с периодом работы здесь ротмистра Пономарева. Не заметь я во время, ошельмовали бы и меня.

— Какой кому интерес навлекать ложное обвинение на вас, начальника жандармского отделения?

— Для того, кто хотел бы меня заменить, — большой интерес.

— У кого же, по вашему, такая охота?

— Да все у того же ротмистра Пономарева.

— Это какой Пономарев? Не бывший ли студент Петербургского Горного Института?

— Тот самый...

Я вспомнил рассказ профессоров Л. И. Лутугина и В. И. Баумана о том ликующем усердии, с каким бывший студент Пономарев производил у них обыск.

Прокурор предложил было два-три поверочных вопроса, но вскоре, махнув безнадежно рукою, оборвал допрос. Председатель распорядился о занесении в протокол показания Мясоедова целиком. Судьи сидели сконфуженные и оскорбленные.

Процесс лежал в грязи, и всех тяготило ощущение чисто физической брезгливости. Скорее бы уйти и хорошенько вымыться. Весь конец судебного следствия прошел как то вскачь.

Прокурор хмуро, не глядя на судей, поддерживал обвинение. Защита чувствовала, что судьи дошли до той высоты душевного напряжения, за которою начинается быстрый спуск. Она ограничилась осторожным указанием, что в веселой комедии, скомпанованной жандармским ротмистром, судьям и подсудимым предназначались одинаково трагические роли: одним — наложить кару без вины, другим — нести безвинно ее муку.

Суд оставался долго в совещательной комнате. Не о судьбе подсудимых шла речь: оправдание было, конечно, вне спора. Вырабатывалось особое постановление. Суд не только оправдал всех подсудимых, но и постановил об обнаруженных действиях жандармской власти сообщить министру внутренних дел.

Слушание дела при закрытых дверях не помешало печати уделить внимание приговору и особому постановлению суда. Реагировала на этот процесс и Государственная Дума.

Прошло месяца два-три.

Вечером, на приеме клиентов, вошел ко мне в кабинет полный штатский. Автоматически указав на стул, предложил ему стереотипный вопрос: «Чем могу служить»?

— Вы меня не узнали... Я — Мясоедов... Свидетель...

Я вгляделся: сильно осунувшееся лицо, испуганные глаза.

— Простите, — не узнал. Штатское платье так меняет военных... Да к тому же не довелось с вами познакомиться; видел вас на расстоянии.

— Не только платье меня изменило, — еще больше изменило горе. Вы говорили, а председатель вас поддержал, что перед судом не может быть служебной тайны. Между тем, мой министр нашел, что, отвечая на ваши вопросы, я нарушил служебный долг. Меня лишают должности начальника вержболовского жандармского отделения и предлагают перевод на северо-восток. Ухожу совсем, — в отставку. Все равно, через несколько месяцев меня выживут... Вы не знаете, — что такое охранка. Это — осиное гнездо... Я наступил на него — и мне никогда не простят. Перейди я к

революционерам, соверши тяжкое преступление, — мне бы простили его скорее, нежели данное на суде показание. Нет, оставаться на службе мне немыслимо. Помогите устроиться в банке или в каком-нибудь промышленном деле.

— Я огорчен, что невольно причинил вам зло. Готов все сделать, — но смогу и с'умею немногое: у меня мало связей в финансовом и торгово-промышленном мире.

Мясоедов стал сумрачен и, видимо обиженный, круто сменил просьбу на укоризну:

— Конечно, я для вас не человек... Ненавистный жандарм — и только. Вы должны, однако, помнить, что, не будь ваших вопросов, мне не пришлось бы вас просить.

Я ответил, что не чувствую себя виноватым: я исполнял обязанности защитника, он — долг свидетеля. Не отказываюсь хлопотать, но лишь предупреждаю о вероятной неудаче. Просил его наведаться через несколько дней.

Я стал усиленно хлопотать. К сожалению, безуспешно: мешала не столько прежняя служба, сколько неподготовленность его для ответственной должности. Предоставить мелкую — стеснялись.

Мясоедов снова зашел ко мне. Я огорчил его сообщением о неудачах, — и мы расстались на том, что, если что найду, напишу. Писать не пришлось, так как ничего для него не нашел.

Миновало четыре с небольшим года. Я прочел в газетах, что Мясоедов снова на службе по жандармскому корпусу и откомандирован в распоряжение военного министра. Через несколько месяцев после того, в одной из вечерних газет появилась заметка, недвусмысленно приписывавшая Мясоедову шпионаж. Мясоедов, в отместку газете, совершил грубое насилие над редактором. Через 2-3 дня председатель комиссии Государственной обороны, член Государственной Думы А. И. Гучков повторил в газетном интервью то же обвинение. А еще через несколько дней дрался на дуэли с вызвавшим его Мясоедовым, чем признал беспочвенность своего обвинения: шпионы, надо полагать, не принадлежат к категории дуэлеспособных, — с ними не дерутся.

Мой чисто логический вывод нашел неожиданно фактическое подтверждение со стороны лица, компетентность которого вне спора.

Во второй половине мая, в связи с порученным мне

генералом А. А. Поливановым делом одной почтенной военной семьи, состоялась консультация, в которой, кроме меня, участвовал Главный Военный Прокурор А. С. Макаренко, меня рекомендовавший.

По окончании делового обсуждения, когда беседа перешла на общие темы, А. А. Поливанов, в то время Помощник Военного Министра, обратился к генералу Макаренко:

— Кстати, Александр Сергеевич, как ваше расследование? Допросили Александра Ивановича (Гучкова)?

А. С. Макаренко сумрачно ответил: «Допросили... Ничего не дал... Ни одного факта».

Когда А. А. Поливанов ушел, А. С. Макаренко, несколько расдосадованный, об'яснил мне:

— Это мы про Мясоедова. Еще до данного мне поручения был запрошен Главный Штаб. Генерал Беляев затребовал все секретные сведения: ничего, что могло бы подтвердить или хотя бы об'яснить в отдаленной степени кампанию против Мясоедова. Запросили Департамент Полиции: тоже ни одного штриха. После этого Военный Министр возложил руководство расследованием на меня. Я назначил для производства его, под моим наблюдением, М. Н. Палибина*). Мы ждали показания А. И. Гучкова с нетерпением. И что-же? — Полное разочарование. Ничего конкретного, фактического, — одна лишь ссылка на свое убеждение и на какие-то сведения. От кого же он скрывал факты и имена? — Кому он боялся их доверить? — Главному военно-прокурорскому надзору? Главному Штабу? Наконец, если допустить, что А. И. Гучков связал себя неосторожно словом, то он мог и должен был заставить, во имя важных государственных интересов, говорить того, кто, связав его словом, прячется сам и прячет доказательства к изобличению изменника. То же и с журналистами. Очевидно, они черпали свои сведения или у А. И. Гучкова, или из того же источника, что и он.

На мое указание — с чего бы стал А. И. Гучков взво-

*) М. Н. Палибин — начальник законодательного отдела Главного Военно-судного Управления. Обширные юридические познания и строгая корректность снискали ему и в военно-судебной среде общие симпатии. По аттестации сослуживцев, он был назначен в 1917 г. Временным Правительством членом Главного Военного Суда.

дить напраслину на неведомого ему человека, А. С. Макаренко ответил:

— Должно быть, кто то ловко наплел ему. — После показания Мясоедова в военной среде у него появилось немало врагов. Гучков легко поверил — и в политической борьбе с Сухомлиновым торопливо использовал.

Через два года с небольшим разразилась война. Всякий старался, хоть чем-нибудь, облегчить страдания тех, кто на фронте. В числе других работал и я над снаряжением поезда с подарками от петербургской еврейской общины. Зашел как-то в магазин офицерского общества, что на Большой Конюшенной. В дефилировавшей в разных направлениях толпе столкнулся с полковником Мясоедовым. Он поклонился, остановил меня. Несмотря на шесть с половиною лет, прошедшие со дня появления его в моем кабинете, он мало изменился: только обрюзг и как то потемнел. С неприятной усмешкою пробурчал он, протягивая руку:

— Перед судом не может быть тайн... Так, что ли? Сколько горя принес мне тот проклятый процесс.

— Что делать... Теперь вы должны чувствовать себя удовлетворенным: ведь, обе газеты, против вас выступавшие, взяли назад обвинение, ответил я — и, воспользовавшись давкою, отошел с поклоном.

Через несколько месяцев Мясоедов связался в моем сознании в один узел с напрасной гибелью двух человек.

II.

Это было во второй половине февраля 1915 года. Вечером, в приемные часы, вошел ко мне в кабинет товарищ прокурора ковенского окружного суда А. Г. Фрейнат. Несколько раз до того, при своих приездах в Петербург, он посещал меня по делу одного близкого ему лица. Всегда спокойный, выдержанный, он был сильно взволнован:

— У меня большое горе... Третьего дня арестован мой брат Оттон Генрихович. Только сегодня от одного из его бывших сослуживцев по Министерству мне удалось узнать, что его обвиняют в государственной измене. На фронте арестован по обвинению в шпионаже полковник Мясоедов. К его делу примешивают брата; он просит принять его защиту.

Я живо вспомнил Кишинев, процесс об еврейском погроме, Особое Присутствие Одесской судебной палаты, судейцев — и среди них жизнерадостную, энергичную фигуру судебного следователя по особо важным делам Оттона Генриховича Фрейната. В русском либеральном обществе и еврейском населении высказывалось против него недовольство: вел пристрастно дело, стараясь затемнить виновность должностных лиц в погроме. Все, однако, отдавали должное его трудолюбию и недюжинной работоспособности. После процесса он был назначен товарищем прокурора, а через несколько лет перешел в Петербург, в министерство внутренних дел чиновником особых поручений при министре.

— Мне удалось, — продолжал А. Г. Фрейнат, — узнать, что главной уликой против брата приводится то обстоятельство, что представляя, незадолго до войны, свое министерство на выставке в Петербурге полицейских и военных собак, он давал некоторым иностранным делегатам об'яснения на немецком языке. Ссылаются также на то, что, выйдя в начале войны в отставку, сделался членом правления нескольких акционерных обществ, которые, будучи русскими, имели крупными акционерами немцев.

Я выразил надежду, что все раз'яснится, — и брату не потребуется защиты.

III.

Через два дня пришел еще один. Его звали Фрейберг. Вряд ли когда его забуду. Высокий, статный красавец, лет 30-35, с печальными глазами, с голосом, идущим от сердца к сердцу.

Через час беседы я понял, точнее — ощутил, что это один из тех клиентов, встречи с которыми так страшится уголовный защитник. Они быстро сносят тонкую, но крепкую стенку, что отделяет клиента от друга, и без которой так легко, так незаметно можно переместиться из юридического советчика в укрывателя преступления.

Существует много книг об адвокатской этике; они посвящены нетрудным, в сущности, вопросам, разрешение которых по-плечу мало-мальски порядочному человеку. Но они бессильны научить — как вести беседу с глазу на глаз с тем, кому закон дал тебя в помощь, как устоять перед его тоскующей мольбой о совете, о содействии. Никто не услышит, никто никогда не узнает: облегчи же его страдание, подскажи... От этой опутывающей тебя, словно паутина, жалости не книгою отгородиться, не ею спастись.

С годами, у каждого защитника вырабатывается — под

перекрестным огнем жалости и долга — своя манера спасаться: все тут суб'ективно, своеобразно. Один из них, переживания которого мне близко известны, завораживал себя в часы беседы наедине с уголовными клиентами таким видением: по обе стороны становились личные его недруги — и как только он чувствовал, что при ответе на вопрос подзащитного, ему хочется понизить голос или оглянуться на недругов, — он осекался и хладел. Но эта борьба с засилием чужого горя, борьба с самим собою за право на самоуважение пожирает столько душевных сил, что нередко после получасовой беседы с клиентом наедине, уголовный защитник чувствует себя более утомленным, нежели от многодневной борьбы на суде.

Фрейберг рассказал, что он живет в Либаве, где, совместно с братьями, владеет лет десять эмиграционной конторою, преобразованною впоследствие в «Общество северо-западного пароходства». Председателем этого Общества, для сношений с министерствами и административными лицами, они избрали еще в 1911 г. отставного полковника Мясоедова, которого знали по Вержболову. Около Рождества одному из директоров Общества — Роберту Фальку воспрещено было жительство в Прибалтийском крае. Хлопоты на месте об отмене этого постановления оказались безуспешными. Тогда было решено вызвать Мясоедова, который, по их сведениям, был в хороших личных отношениях с помощником командующего войсками округа, генерал-губернатором Курловым. На днях он несколько раз телеграфировал Мясоедову, вызывая его для встречи в разные города, но ответа не последовало. Тем временем либавский жандармский ротмистр, вполне доверяя его лойяльности, сообщил ему, что получил телеграфное распоряжение с фронта о производстве у него обыска и об аресте. Тогда он отправился в Вильну, куда раньше вызывал Мясоедова. Здесь он узнал, что Мясоедов арестован по обвинению в шпионаже. Он немедленно выехал в Петроград, чтобы проконсультировать меня: что ему делать? Ехать ли домой, в Либаву, или скрыться? Последнее было бы для него очень тягостно, так как он ни в чем неповинен.

Я ответил, что о таких вопросах совещаются не с адвокатом, а со своею подушкою; разрешают же их собственным разумом, совестью и риском.

— Вы отвечаете мне, как юрист, а я спрашиваю вас, как человека.

— Я могу отвечать вам только как юрист.

— Хорошо... Но как бы вы поступили на моем месте?

— И на это нелегко ответить. Одно дело — предполагаемая опасность, другое — реальная. Насколько я знаю себя, не сбежал бы; искал бы суда, чтобы перегрызть горло своим обвинителям; а там — чорт с ними! — кто кого...

Фрейберг быстро встал и, пожимая мне руку, радостно сказал:

— Теперь я знаю — как мне быть: еду домой!

— Ну вот — быстро порешили. Обдумайте! Знаете ведь: чужую беду руками разведу, к своей — ума не приложу.

Но Фрейберг ничего уже не слушал — и, отступая к дверям, настойчиво повторял лишь одно:

— Надо ехать домой! Могу ли я расчитывать на вашу защиту?

— Могут и не допустить защиты. А вдруг предадут вас полевому суду.

— Это я понимаю... Я на тот случай, если защита будет допущена: приедете ли защищать?

— Безусловно, — как бы я ни был занят. Но еще раз: не примеряйте чужой души на свою. Посоветуйтесь хорошенько со своей подушкою.

В дверях он обернулся, глянул на меня с доброй улыбкою, — высокий, плечистый красавец.

Недели через две приехал ко мне кто-то из его родственников. Рассказал, что на другой день после посещения меня Фейерберг выехал в Либаву, явился к жандармскому ротмистру. Тот его арестовал и препроводил в распоряжение военных властей в Варшаву. Вслед за ним поехали жена и либавский помощник присяжного поверенного Лившиц.

Казалось, все шло законно и правильно. — Препроводили в Варшаву, где будет судиться полковник Мясоедов, — но этого требует основной процессуальный закон, в силу которого все участники преступления судятся в одном суде и именно в том, которому подсуден главный обвиняемый.

Через два-три дня прочел с изумлением в газетах, что 18 марта состоялся суд над Мясоедовым. Судили его одного,

притом, полевым судом — спустя месяц! После сута в ту же ночь повесили. Эта спешка возбудила вполне серьезные сомнения.

В Варшаву свезены соучастники Мясоедова. Обвинительный матерьял против них — это обвинительный матерьял и против Мясоедова, — и наоборот. Предстоявший общий процесс должен был и мог обнаружить главнейшие нити шпионской организации и вдруг, с непостижимой торопливостью, истребляют виновного — составителя преступной организации.

Выходило так, что не соподсудимые страшатся встречи на суде со своим руководителем: страшится обвинение.

Дальше — больше.

От явившегося ко мне, спустя приблизительно месяц, родственника Фрейберга, узнаю про новый, непостижимый факт. Для свидания с братом прибыл в Варшаву Давид Фрейберг. Свидание было дано. Через несколько дней помощник присяжного поверенного Лившиц зашел в тюрьму, чтобы сделать, как много раз до того, передачу тюремной администрации денег на улучшение пищи заключенному Борису Фрейбергу. Он передал не 50, как обычно, а 75 руб. Не успел он отойти, вместе с поджидавшим его на улице Давидом Фрейбергом, и сотню шагов, как услышал за собою топот и крики: стой!.. Это были чины тюремной администрации и еще какие-то.

Арестовали обоих и сделали обвиняемыми. Давиду Фрейбергу пред'явили обвинение в принадлежности к шпионской организации, а Лившицу — в приготовлении побега членов преступной организации.

Всех их — вместе с Борисом Фрейбергом, О. Г. Фрейнатом и еще с какими то — судили летом 1915 года. Фрейната и помощн. присяжн. повер. Лившица — оправдали; Давида Фрейберга приговорили к нескольким годам каторги, а Бориса Фрейберга (того самого, который добровольно явился) — к повешению. Судили их без защитников: защиты не допустили.

Приговор был обращен к исполнению — и, тем не менее, Верховный Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, назначил новый суд (Двинский) над оправданными Фрейнатом, Лившицем и приговоренным к каторге Давидом Фрейбергом.

В приказе об этом был включен беспримерный в истории суда пункт о недопущении защиты. Волею великого князя для подсудимых был отменен закон, незадолго до того подтвержденный к исполнению Главным Военным Прокурором А. С. Макаренко, по делу моего подзащитного — мельника Чеховского.

Про это дело — после, когда будет речь об А. С. Макаренко, отзывчивом человеке и стойком хранителе закона даже в беззаконное время войны.

Я кинулся к нему.

Он в ответ на мою просьбу:

— Я бессилен помочь... Театр военных действий вне моей компетенции. Там воля Верховного Главнокомандующего — закон. Военные дела наши, к несчастью, идут плохо... Нужно оправдаться. Ищут виновных — и, конечно, в первую голову валят на инородцев: благо это легче всего. Впрочем на одних ли инородцев? — Я получил копию вопросного листа по делу Мясоедова. Возмутительно, хотя человечек он отвратительный. Признали его виновным по первому вопросу — в шпионаже до войны. Но в вопросе об этом не помещено ни одного фактического признака, который, хотя бы отдаленно, свидетельствовал о том доказательственном матерьяле, над которым работа мысль судей. Взяли да списали текст закона о шпионаже: вот и весь вопрос. Так можно всякого обвинить в чем угодно... Потом следует вопрос о виновности Мясоедова в шпионаже во время войны. Разбили этот вопрос на три части. В первой — признали, что Мясоедов, с целью собирания сведений для германцев, добыл адреса и выехал на позицию. Еще бы не признать, если он это сделал, исполняя распоряжение своего начальства! Но, когда во второй и третьей частях вопроса перешли к обсуждению обвинения в передаче этих сведений германцам, ничего не вышло. Пришлось ответить дважды: нет! Вот что получилось из обвинения в шпионаже... За то признали его виновным в мародерстве... в отношении немцев: у него — видите ли — нашли несколько статуеток и гравюр...

После этой беседы мне стало ясно, — как могли осудить без всяких данных Бориса Фрейберга и назначить, с грубым нарушением процессуальных законов, двойной суд над его братом. Осужден «заведомо лихой человек» — значит, должны быть осуждены и те, кто были с ним в близости по должности директоров пароходного общества.

Надо ли добавлять, что домогательство верховного главнокомандующего завершилось успехом: Давид Фрейберг был также приговорен к смертной казни, О. Г. Фрейнат поплатился за разговор по-немецки на «собачьей выставке» каторгою.

Помощника присяжного поверенного Лившица пришлось и вторично оправдать.

Вскоре, возвращаясь через Петербург домой, побывала у меня жена Бориса Фрейберга.

Маленькая, замученная женщина, вся в черном, рассказала мне про последние часы мужа и его брата, спрашивала— как ей быть с семьею, с крохотными остатками имущества.

Я слушал ее рассказ — такой же безропотный, тихий и печальный, как она сама. Глядел на нее, — но на том месте у письменного стола, где сидела она, я видел другого, — что за полгода перед тем искал у меня с тревогою ответа: довериться ли ему суду?..

IV.

Сила предубеждения.

Вскоре, по назначении генер. А. А. Поливанова военным министром, мне довелось с ним беседовать по тяжелому вопросу. — Еврейскую общественность волновал своей явной несправедливостью один из проектов генерала Янушкевича. Предлагая призвать, для пополнения огромной убыли в офицерском составе, новую досрочную категорию воспитанников высших учебных заведений, он рекомендовал: христиан направлять на ускоренные офицерские курсы, евреев — в нижние чины, на фронт.

Я созвонился с А. А. Поливановым. Он подтвердил слух и пригласил заехать к нему вечером.

Продолжительную беседу по этому вопросу он закончил признанием правильности моих доводов о недопустимости оскорбительного неравенства при несении повинности кровью и категорически заявил:

— Военное Министерство не предложит и не одобрит подобного законопроекта: или новые категории студентов-евреев пройдут, наравне с товарищами своими — христианами, через офицерские курсы, или вовсе не будут призваны. Разве что закон этот издаст Ставка помимо меня.

Затем, пройдясь по громадному кабинету министерской квартиры, он с улыбкой заметил:

— По этим аппартаментам разгуливал Мясоедов и, пользуясь небрежностью Сухомлинова, оставлявшего на письменном столе и в незапертых ящиках секретные документы, делал из них, для сообщения немцам, нужные выдержки.

Удивленный такой убежденностью и точностью изложения, я возразил:

— Почему же расследование Александра Сергеевича не дало ни малейшего подтверждения? Почему ни Генеральный Штаб, ни Департамент Полиции ничем не поддержали этого обвинения?

Нервно подергиваясь контуженной шеей и не меняя своей на-редкость приветливой улыбки, Поливанов мягко програсировал:

— Разве такие дела легко раскрываются?.. Впрочем, я помню одну бумажку из Департамента Полиции. — Там указывалось, что Мясоедов, состоя при военном министерстве, в то же время занимается платными частными делами — председательствует в каком - то пароходстве по перевозке эмигрантов. Из-за этой бумажки окончательно испортились мои отношения с Сухомлиновым. Она пришла во время его служебной поездки (Поливанов назвал не то Туркестан, не то Закаспийский край). Я исполнял тогда обязанности военного министра — и, так как конверт был адресован Сухомлинову, как министру, а не частному лицу, я обязан был вскрыть его, несмотря на надпись относительно с е к р е т н о с т и. Не знаю как, — но все это стало известно кой кому из членов Государственной Думы. Сухомлинов изобразил меня «на верху», как интригана. Мне ничего не оставалось, как освободить его от моего сотрудничества.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

БРЕД ВОЙНЫ.

(Окончание).

I.

В печати указывалось, со ссылкою на «Войну и Мир», что Мясоедову выпала та же участь, что и купеческому сыну Верещагину в Отечественную войну.

Сравнение это вряд ли правильно.

Московский губернатор Растопчин кинул Верещагина ожесточенной толпе так же сознательно, как путники, чтобы спастись, кидают преследующей их стае волков какую нибудь живность.

В деле Мясоедова и братьев Фрейберг причина лежит гораздо глубже. И если для подхода к ней нужна литературная справка, то следующие строки, которыми начинается третий том «Войны и Мира», кажутся наиболее подходящими:

«...Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».

В этом перечне преступлений, сопутствующих войне, — преступлений нетаящихся, ибо они лишь бледная тень от тени главного, — Толстой пропустил одно, наиболее характерное.

— То, что рождается среди проклятий и стонов раненых и умирающих, ползет вместе с кровавым туманом с полей битв, вьется и стелется далеко окрест их, иногда по всей стране. Шелестит сначала шопотом, а потом становится все громче и гульче, завершаясь блажным криком: измена... измена... измена!..

В тысячах мест, входящих в фронтовую полосу или только к ней прилегающих, крик этот будит, разжигает дремлющую ненависть к отдельным людям («заведомо лихой человек»), к разным единениям, — в особенности, национальным («что им наша родина: спят и во сне видят как бы ее загубить, изничтожить»).

Кого полоснет раскаленным словом «измена», — того редко что спасет. Редко что: даже царский венец.

В последнюю, нечеловечески трудную и бесчеловечно жестокую войну страна забредила скоро: лишь только пошли неудачи на польском фронте.

Как медведь, закусанный мошкарою, катается с ревом по земле, рвет когтями свое тело, — так миллионы людей, обезумев от утрат и обид, стали плохо отличать правого от виноватого.

Добро бы, только толпа. Но нет, даже тех, у кого должны быть умными не только голова, но и сердце, — да не только сердце, но и кровь. даже тех — судей! — распалил, зашатал горячечный, трудно победимый бред войны.

II.

Мои личные наблюдения стали накапливаться с такого случая: месяцев через пять-шесть, по начале войны, два видных польских адвоката обратились ко мне с просьбою о защите в Главном Военном Суде приговоренного к смертной казни клиента их, инженера- немца. Жил он много лет в Варшаве, где владел техническим делом. Какие улики повлекли предание его суду и осуждение? — Первая: на стене у него висела карта военных действий с наколотыми флажками, — т. е., то самое, что можно было найти в то время в каждой квартире. Вторая улика: среди разных дневников и бумаг, нашли запись анекдота — письма скототорговца к семье. Соль этого «вица» заключалась в перетасовке семейных нежностей с наименованиями разных пород скота. Обвинительная власть нашла, что это условный, в интересах шпионажа, язык, причем под свиньями она уразумела пехоту, под телятами — кавалерию, а под быками — артиллерию. На-

прасно обвиняемый уверял, что анекдот этот слышал он в курорте от знакомой дамы, что от безделья записал его, как забавный. Не поверили: приговорили к смерти.

В кассационной жалобе поводы оказались слабые, точнее — мнимые. Видимо, процесс, с формальной стороны, шел гладко: писавшему жалобу не за что было ухватиться. Чувствовалось, что если что может спасти обвиняемого, то, во всяком случае, не кассационная юриспруденция: только какой нибудь разительный факт, поясняющий злосчастный анекдот, мог развеять бред. Мне припомнилось, что я, не то читал, не то слыхал этот анекдот еще года за два до войны. Мои помощники стали рыться в «еженедельниках» — и одному из них удалось его разыскать. Слово в слово, тот самый, что найден у обвиняемого.

Оставалось одолеть крупное формальное затруднение: как ознакомить с добытым Главный Военный Суд, когда закон не дозволяет в кассационной инстанции не только представлять новые доказательства, но даже касаться существа дела. Посчастливилось: председатель С. А. Быков человек ума жадного: увлеченный своеобразием дела, он не мешал правде прорваться через кордон формального закона. Он дал мне использовать новый матерьял под видом иллюстрации к какому то из формальных доводов и указать, что основной грех приговора и обвинительного акта — в отсутствии анализа: пусть это условный язык, но, разгадав его ключ, нетрудно установить — что же в нем выражено? Какая тайна сообщена?

Главный Военный Суд приговор отменил и предписал рассмотреть дело вновь. Месяца через два оно слушалось в том же варшавском военном суде: на этот раз незадачливого любителя анекдотов оправдали.

Я долго не мог отделаться от обидного вопроса: где больше анекдотичности — в тяжеловесном ли немецком «вице», или в легковесной постановке на суд дела со смертной казнью?

III.

Вот еще один, пережитый мною, случай из той же области бредовых видений войны.

26-го сентября 1914 г., — в день, когда около Друскеник шел горячий артиллерийский бой, на паровой мельнице известного в городе купца Чеховского раздался гудок о приступе к работе.

Это неспроста, — это сигнал для корректирования вражеской стрельбы, порешили подонки, заражая своим домыслом и более стойкие круги.

Кинулись на завод. Рабочий, подававший гудок, спасся бегством. Мельник Чеховской нашел убежище в пользовавшейся большим авторитетом христианской семье. Озлобленный страх стал искать выхода и нашел его: убили безобидного, всем давно известного глухо-немого немца, никакого отношения к мельнице не имевшего. Труп его бросили за городом, в лесу, едва закидав палыми листьями. Собаки отрыли и сильно попользовались.

Через несколько дней, когда возбуждение улеглось, Чеховской вернулся домой — и был арестован. Произвели следствие. Оно ничего не дало. Все же, составили обвинительный акт и предали Чеховского суду виленского военного суда. Виленские общественные деятели просили меня принять защиту. Подали соответствующее заявление. Получил телеграмму, что председательствующий положил резолюцию о недопущении защиты. Что делать? — Ожидать, сложа руки, приговора над бесзащитным, чтобы затем о т л и ц а с м е р т н и к а принести кассационную жалобу, которую может не пропустить военная администрация? Я считал такую пассивность недопустимою и, будучи убежден в юридической ошибочности судейского постановления, обратился к Главному Военному Прокурору, который являлся одновременно и начальником главного военно-судного управления.

Об А. С. Макаренко я упоминал уже раньше, — придется вспоминать его и впредь. Я — один из его должников. Ни время, ни тоска эмигрантщины, ни пересмотр моих прежних отношений к людям не могли ослабить благодарности и любви к нему за все то добро, которое он творил. Он чаровал меня своим умом, чисто художественной чуткостью в разгадывании людей и самых запутанных положений. Я знал, что он крепкий монархист, с уклоном вправо, — но не менее твердо знал, что судом он не мстит, судом не жалует. Никакие интересы высокого служебного положения, ни соображения личного успеха не могли подвинуть его на расплату за них чужой судьбою, ни на угодничество или фальшь. Он же знал и верил, что я его милосердием не торгую и что мое частое предстательство за политических не связано с какой либо корыстью. Когда надвинулась по-

лоса шпиономании — и я, захлестнутый горем многих семей, оказался, неожиданно для самого себя, заступником за «шпионов», — за мнимых шпионов, — он не поколебался в своем отношении ко мне и с прежним доверием откликался на каждую мою просьбу. Было трогательно не только то, что он делал, но и то — как он делал. Только р у с с к и е — и, при том, очень хорошие — умеют давать радость так, что берущий иногда не может разобрать: то ли он ее берет, то ли сам да'ет.

А. С. Макаренко выдержал натиск бредовой волны — и без устали боролся за сохранение законности и во время войны. Расширявшийся, все более и более, боевой фронт с'уживал его компетенцию, но и там, в фронтовой полосе, он ухитрялся добиваться своего. Добивался, рекомендуя туда своих сотрудников. Не всегда его рекомендации принимались, не всегда сотрудники его приходились ко двору. Так, например, очень скоро вынужден был оставить свой пост работавший на фронте у Рузского петроградский военный прокурор Мантейфель*): личное законопослушание и требование его от других вызывали недовольство со стороны начальника штаба ген. Бонч-Бруевича.

Еще более добра творил А. С. Макаренко путем представлений о помиловании, смягчении участи. Попрежнему, осужденные военными судами, кроме смертников, поступали в его ведение, как начальника главного военно-судного управления, — и это дава'ло ему возможность исправлять ошибки, смягчать жестокость. В «сферах» его недолюбливали. Однако, уважение к нему было так велико, что, когда в первые дни февральской революции правительство сделало судорожную попытку примириться с обществом, — А. С. Макаренко был назначен, — не только без своего согласия, но даже ведома, — министром внутренних дел. Как известно, этому новому правительству не довелось вступить в исполнение обяза'нностей...

Двадцать третьего февраля А. С. был арестован революционной толпою и отвезен в Петропавловскую крепость. По дороге ему так надоели приставленными к вискам револьверами, что он сурово прикрикнул: «Либо спускайте

*) После октябрьской революции Мантейфель крайне нуждался, занялся извозом, но скоро надорвался и умер в больших страданиях.

скорее курок, либо — уберите». Через несколько дней нам, небольшой группе адвока'тов, удалось его вызволить из крепости. Через два месяца, как только я был назначен председателем Комиссии о злоупотреблениях в морском ведомстве, я просил его сотрудничества. Но нам не пришлось долго работать вместе: пришел октябрь — комиссию закрыли. О дальнейшей участи А. С. Макаренко знаю лишь по наслышке: был министром юстиции при Деникине, потом перешел в члены Главного Военного Суда*).

Возвращаюсь к делу мельника Чеховского.

Когда я указал Главному Военному Прокурору на проявленную военно - судебным ведомством попытку закрыть двери перед защитою, он не спрятался за формалистику, не отослал меня к ка'ссационому разбирательству, а приказал написать в Вильну, что защита должна быть допущена.

Преподанное раз'яснение получило принципиальное значение: я поспешил за'крепить его официальной письменною справкою и сообщил в копии видным адвокатам прифронтовой полосы и печати.

Дело Чеховского, продолжавшееся два дня, шло при закрытых дверях. Председательствовал судья, положивший резолюцию о недопущении защиты, — суховатый, корректный немец. Членами при нем были: пехотный подполковник с добрыми глазами и ка'валерийский офицер, бывший ад'ютант генер. Ренненкампфа. Пехотный подполковник первый день следил с большим напряжением за изгибами судебного следствия. Повидимому, он скоро убедился в невиновности подсудимого, так как перестал, затем, интересоваться бесцельной вознею и лишь участливо поглядывал на подсудимого и защиту. Третий судья — бывший ад'ютант Ренненкампфа, сильно напомина'вший своего патрона и лицом, и огромными грозящими подусниками, метал свирепые взгляды на подсудимого. Но грозность его не вызывала во мне тревоги и, взглядывая на него, я вспоминал слышанный от одного офицера каламбур: какой там фон Ренненкампф, он скорее — Реннен фон Кампф (побег с поля сражения).

*) Недавно мне удалось разыскать А. С. Макаренко. Он служит в небольшом городке Югославии п и с ц о м в державном тужноштве (прокурорском надзоре) и доволен, что имеет возможность участвовать в юридической работе.

Следствие шло прекрасно. Единственно серьезный в деле вопрос раз'яснился быстро и целиком в пользу подсудимого. Почему — допытывалось обвинение — замершую, было, на несколько дней мельницу пустили во вменяемый в вину день в ход? — Потому, что не было долго — отвечали свидетели — подвоза зерна, а в тот день крестьяне подвезли.

В дальнейшем, судебное следствие барахталось в месиве из наивных сближений и нелепых сопоставлений, не дав ничего, за что могла бы ухватиться даже подозрительная ненависть. И все же, в переполненном лицами судебного ведомства зале, не чувствовалось былого серьезного и вдумчивого настроения.

Во время перерывов шел крикливый обмен мнений об еврейском предательстве и изобретательности еврейских шпионов в заметании следов преступления. Особенно неистовствовал мало-трезвый, с провалившимся носом, капитан, исполнявший, как мне говорили, обязанности помощника военного прокурора по маловажным делам.

Несмотря на явный провал обвинения, прокурор обвинял запальчиво, — с тем раздраженным и раздражающим тоном, который является, когда убеждаешь не столько других, сколько себя самого.

Подсудимый был оправдан.

Как потом рассказывали судейские, задержал судей в совещательной комнате, сравнительно долго, бравый ад'ютант Ренненкампфа: он стоял за обвинение*).

Ни радость за Чеховского и его семью, ни удовлетворение, которое дает успех, не могли рассеять тяжелое чувство, завладевшее мною на суде. Я едва высидел полчаса на чествовании, устроенном виленскими общественными деятелями, едва выслушал приветственную речь, — и, сказавшись больным, провел в одиночестве несколько часов в неряшливом номере гостинницы, дожидаясь с нетерпением времени, когда можно будет уехать.

Я чувствовал, что на Вильну надвинулся вплотную фронт с его жестокостью, неотомщенной обидою, со сквозящим через внешнюю логичность безумием.

---

*) Это не помешало ему через четыре года, при встрече в Одессе, шумно приветствовать меня и рассказывать, с пеною плохо взбитого пафоса, как ему трудно было уломать старорежимного подполоковника.

IV.

При отступлении армии от Варшавы, погрузили беспорядочно в вагоны кучи содержавшихся под стражею «заложников»... от собственных граждан. К ним присоединили множество арестованных по обвинению, а еще более по подозрению в измене.

Часть их раскидали по встречным военным пунктам — Вильна, Двинск, Псков и др. Остальных доставили в Петроград. Кинули всех их в тюрьмы, — стариков, женщин и детей. Большинство было не только без документов, но даже без указания оснований содержания под стражею. Прокуратура, опасаясь ответственности за превышение власти и противозаконное лишение свободы, отказалась держать их в тюрьмах. Петроградским военным властям пришлось перечислить таких содержащихся за собою. От этого содержание их стало законным лишь внешне, сохраняя в основе своей тот же характер бездушного произвола.

Несколько дел этого живого груза, доставленного в Петроград по эвакуации Варшавы, военная прокуратура поставила на суд.

Наиболее тяжелым считалось дело портного Гольцмана, тяжелым потому, что показания свидетелей-казаков были категоричны, — между тем, как самый факт, о котором они свидетельствовали, представлялся маловероятным.

Такие дела страшны ответственностью перед самим собою за гибель невиновного — и защитники, к которым обращались общественные организации, отказывались один за другим. Наконец, нашелся смельчак : молодой талантливый защитник.

Однако, за два дня до слушания дела, коллега этот пришел ко мне с просьбою освободить его от защиты.

— Я изучил, — сказал он, — не только дело, но и настроение суда. С тех пор, как к нам приблизился фронт, — и петроградский военный суд стал судом театра военных действий, судьи сделались неузнаваемы: недоверие, ожесточенность охватили самых мягких из них. Для меня нет сомнений, что Гольцман погибнет. Защищать его должен кто нибудь из старших товарищей.

Часа через два я уже знакомился в военном суде с делом. Тоненькое, в 20 полулистов, оно содержало показания двух казаков, совершенно тождественные. Шли они по городишку. Увидали дым, идущий из трубы одной хибарки. Не

заперта, — они в комнаты: никого. Они — наверх, на чердак. Там, прижавшись к трубе, стоит вот этот (Гольцман). Стоит и дрожит.

Мы ему: «Ты что-же, такой-сякой», — а он дрожит и лопочет что то. Мы его к нашему хорунжему: так и так.

Затем, идет протокол осмотра чердака и крыши: ничего не нашли. На крыше, — на одной дранице около трубы обожженное место в медный пятак.

Мне стало жутко. Я познал уже психологию войны и ее судов. Я понял, что где бы и когда бы она ни велась, ее суды не могут быть лучше того, которым французы судили Пьера Безухова.

«Этот суд», — писал Толстой, — «как всякий суд, имел одно только назначение: подставление желобка, по которому должны катиться вопросы обвинения, чтобы привести к желаемому результату — осуждению».

Разве может быть выбор: два казака и безвестный польский жид, — один из того племени, что будто бы сводит в тяжелую годину сатанински-злобный счет свой с русским народом, его армией и властью?

— Надо бежать!.. Этого несчастного мне не спасти. Его казнь меня расплющит. Пускай это дезертирство, бесчестие... Бежать, бежать без оглядки.

Совесть стала натягивать возжи.

— Уйти недолго, — но кому же сдать несчастного: после завтра суд. Никто не согласится. Не свалить же его снова на младшего товарища, которого только что разгрузил.

Совесть натянула возжи.

— Пусть решит судьба. Пойду сейчас просить об отложении дела. Удастся, — попрошу кого-нибудь из товарищей более хладнокровных, выдержанных, заменить меня. Они знают, что во мне говорит не нервность, не сентиментальность, а органический ужас перед наказанием смертью. Я всегда готов, как бы ни были слабы шансы, биться за жизнь, — но не ассистировать, заведомо бесполезно, при убийстве. Судьба меня до сих пор миловала: ни разу не пришлось выслушать смертный приговор. Может быть, помилует и теперь: отложат дело. Если же нет, — значит, надо пройти и через это, неизведанно-страшное.

Кто председательствует по делу Гольцмана?

— Генерал такой то.

Я узнал его за несколько лет перед тем: защищал у него трудное и, казалось, безнадежное дело студентов Яновицкого, Шишкина и рабочего Сухлеева. Он с'умел тонко разобраться в запутанном, кровавом матерьяле. Сохранил спокойствие, несмотря на нагромождение ужасов. Сам убедился и убедил сотоварищей своих в невиновности подсудимых. Благородное изящество мысли, самоуважение и уважение к другим: таково впечатление, им оставленное.

— Вот удача, — подумал я. — Доложите генералу, что мне нужно его видеть.

Я не встречал N. около года — и, когда вошел в его кабинет был удивлен: передо мною стоял глубокий, сгорбленный старик с потухшими глазами и черным провалом под ними*). Когда мы сели, я сказал, что в связи с предстоящею после-завтра защитою, у меня к нему просьба.

— После завтра?.. Да ведь там сплошь шпионские дела... Кого же вы защищаете?

Я назвал.

Генерал взглянул на меня с удивлением и в глазах его загорелся недобрый огонек: «Еще вчера канцелярия называла мне другого защитника»...

Я понял и принял вызов.

— Да, я защищаю Гольцмана, обвиняемого в шпионаже, но который подлежит оправданию, хотел просить, ваше превосходительство, отложить дело. Некоторые обстоятельства чисто личного свойства делают для меня затруднительною защиту после завтра. Исполнить мою просьбу тем легче, что по делу нет явки свидетелей, экспертов. Все оно состоит из нескольких протоколов и займет не более полутора-двух часов.

Генерал, к которому вернулась его обычная корректность, учтиво ответил:

— Я не могу на этот раз исполнить вашу просьбу. Это эвакуированное дело сравнительно давно за нашим судом. Вы упустили из виду, что мы являемся теперь судом театра военных действий: скорость — одно из обязательных для него условий.

Я простился. Надо, значит, защищать.

Расписался в принятии дела, взял разрешение на свидания — и отправился в выборгскую тюрьму.

---

*) В первый месяц войны был убит его единственный сын.

Привели полуседого, совершенно изнуренного старика с тоскующими глазами и, в то же время, с горькой улыбкою на лице. Об'яснение с ним было трудное: ни слова по русски, только по-польски или по-еврейски.

— Что да как?

В ответ горькая улыбка, безнадежный жест.

— Что тут говорить. Вот уже полгода мучают меня. Они сами отлично знают, что я невиноват. Если бы что было, — давно бы повесили. У них чуть что не так, — сейчас слышишь: в 24 часа. Много у нас народу перевешали...

И опять мучительная, страдальческая улыбка.

— Я был простужен. Лежал на лавке — трясло. Мои ушли в аптеку. Пришли казаки. Сейчас ко мне: «жид, давай гроши». — Я им: «не маю». — «Жид, давай». — «Не маю». — Они — свое; я — свое. Начали бить. Я кричу: «пойду до генерала». Они стали лаяться. Послонялись, послонялись: взять нечего. Они — наверх. Потом опять ко мне: «Ты, жид, хочешь до генерала, — идем». И повели.

Его лицо все время кривила горькая усмешка, становившаяся минутами презрительной.

— Прошу вас, не улыбайтесь на суде. Могут не понять вашей улыбки — сочтут вас дерзким. Не обижайтесь, — но для начала перестаньте сейчас же усмехаться.

— Боже мой! Я же не смеюсь. Хороший смех.

Через день состоялся суд.

Не помню почему, — вероятно, обычный зал заседания был занят, — суд состоялся в небольшой комнате. Поставили канцелярский стол и три соломенных стула — для судей, два столика поменьше — для прокурора и защитника, а позади меня, на соломенном стуле, поместили, с двумя конвойными по бокам, подсудимого. От этой простоты и семейной обыденности становилось еще страшнее.

Вышел суд: генерал N. и двое временных судей. Все заняли места. В комнате нас девять человек. Нет обычных расстояний. Все слито, тесно. Нет места для смерти, — а она уже здесь.

Опрос подсудимого. Спохватились, что он не говорит по-русски. Пригласили канцелярского чиновника, говорящего по-польски. Формальности опроса окончены. Свидетелей нет. Никого, за дальностью расстояния, согласно законам военного времени, и не вызывали. В несколько минут прочли обвинительный акт.

— Переводчик, переведите подсудимому, что он обвиняется в том, что тогда-то, там-то, с целью способствованию неприятеля в его враждебных действиях против России, подавал ему условные знаки путем дымовой сигнализации.

Подсудимый начал отвечать.

Вдруг гневный окрик председателя:

— Не сметь смеяться! Переводчик, скажите подсудимому, чтоб он не забывался: он перед судом. Если еще раз повторится эта наглость, — он будет удален и суд состоится в его отсутствии.

Подсудимый с конвульсивным рыданием мнет и быстро заканчивает об'яснение.

— Кончили? Прочтите показания свидетелей.

Секретарь читает. Менее, чем в полчаса, чтение окончено. Прокурор просит разрешения ссылаться на протокол осмотра и произносит краткую речь на тему о запирательстве при очевидности вины.

Слово за защитою. Я говорю не речь. Хочу убедить краткою беседою. Невозможно сигнализировать из дымовой трубы крохотного домишки, не стоящего на горе, прижатого к другим, таким же домишкам, нельзя сигнализировать в зимнее время, когда всюду топят и всюду над домами вьется дым, — сигнализировать врагу, находящемуся в большом отдалении.

Стою так близко к судьям, что должен сдерживать свои жесты и движения. Смотрю в их лица. Ищу взглядом их взгляды. Не могу поймать. Глаза у них мертвые. Не пропускают, — не войти. Спущен стальной занавес. В отчаянии повторяю свои немногочисленные доводы. Словами неповоротливыми, отяжелевшими я бьюсь о камень их сердец, о сталь спущенного занавеса. Напрасно: застыли, не шевелятся.

— Подсудимый, ваше последнее слово.

— Я уже все сказал.

Переводчик садится. Судьи уходят в совещательную комнату. Минут через десять они возвращаются. Председатель, судьи вытягиваются в струнку.

То, чего всегда страшился, случилось. Отчетливо слышу:

— На основании статей... лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение.

— Переводчик, переведите!

Свистя и шипя, пролетают надо мною польские слова о смерти и разрываются над подсудимым.

Я оборачиваюсь. Широко раскрыв глаза, он улыбается своей печальной улыбкою и укоризненно качает головою, как старший на зарвавшихся детей.

Судьи поворачиваются, уходят, за ними прокурор.

Председатель бросает на ходу секретарю:

— Приготовьте следующее дело.

Секретарь бросается в корридор.

Выводят Гольцмана. Я за ним. Смотрю в его глаза, — глаза взрослого человека. Я читаю в них укоризну не только суду, но и мне. Наверное, и мне: если ты бессилен разорвать петлю, — не путайся, не мешай смерти; не оскорбляй последних, самых важных часов драчливой вознею.

И, все же я хватаю его руку и кричу:

— Вы будете жить, Гольцман. Верьте мне еще хоть два-три дня. Вы будете жить!

В конце корридора встречаю военного судью генерала Спешнева. Потому ли, что брат его наш товарищ, или потому, что душа у него с отзвуком, адвокатура чувствует его, как близкого:

— Скажите, теперь что? А дальше?

Спешнев отводит от меня глаза:

— Если об'явление приговора в окончательной форме назначено на сегодня, — дело уйдет завтра вечером во Псков, к Главнокомандующему северо-западного фронта.

Я бросился по Мойке, через два дома, в Главный военный суд.

— Доложите Главному военному прокурору.

— Главного военного прокурора нет. Пятый день болен.

Я к нему на дом. Отпирает денщик: «генерал очень больны, — никак нельзя».

Отстраняю денщика. Быстро прохожу в кабинет, оттуда в спальню.

— Александр Сергеевич, не сердитесь, что я так. Большое несчастье. Приговорили к смерти невинного. Помогите.

Оглянулся. — На постели, в одной рубахе, красный от жара, с лихорадочными глазами, лежит, прикрытый одеялом, а поверх его шинелью, А. С. Макаренко.

Я заколебался. Но не прошло минуты, как зарокотал его нестрашный басок:

— Ну, посмотрим, посмотрим. Дайте только привести себя в порядок. Я к вам сейчас же.

Через несколько минут, в накинутой поверх белья шинели, он вошел в кабинет с заготовленной шуткою:

— Осудили, говорите, невиновного. Ну, конечно. У вас всегда так: либо нет вины, либо нет состава преступления. Иного не бывает.

Но взглянув на меня, обрывает шутку.

— Ну, хорошо: в чем дело?

Я рассказал.

— Да, сомнительно. Но я то чем могу помочь?

— Вероятно, завтра дело уйдет на фронт. Дайте мне возможность обдумать, сообразить. Я растерялся: никогда не испытывал этого ужаса, даже в кассационном суде у меня сходило благополучно. Мне эта тяжесть не под силу. Помогите ее сбросить. Потребуйте к себе дело. Я выиграю день-другой, а вы убедитесь, что я прав. Может быть тогда вы дадите мне письмо на фронт. Я отвезу и буду молить, авось, вымолю. Еесть же кто-нибудь из ваших судейских на фронте.

— Да, — генерал Шавров.

— Ну, вот! Генерал Шавров, кажется, и сам по себе отзывчивый, а ваше желание он примет близко к сердцу.

А. С. Макаренко с минуту подумал и позвал денщика:
— Пригласи ко мне генерала Лыкошина.

Пришел А. С. Лыкошин*).

— Александр Сергеевич, надо выручать, — кивнул он в мою сторону. Возьмите для меня у председателя разрешенное сейчас дело Гольцмана.

Я пошел вместе с Лыкошиным. Хотелось лично удостовериться, что смерть от Гольцмана отведена хоть на несколько дней, — что дело, действительно, забрано. Без этой уверенности жутко было возвращаться домой.

В корридоре суда я встретил товарища. По бледному,

---

*) Даровитый, отлично образованный юрист, он был одно время профессором военно-юридической академии; тяжелое нервное нездоровье, выключавшее его иногда на месяцы из числа работников, не дало развиться его недюжинным способностям. Родство с проф. В. И. Семевским сблизило его с учеными и литературными кругами.

растерянному взгляду я понял, что его клиента тоже приговорили к смерти. Неподалеку, у дверей канцелярии, меж конвойными, дожидавшимися препроводительной бумаги, стоял огромный, плечистый, медведеобразный арестант.

С непреодолимою потребностью, — той самою, с какою прибывший на станцию паровоз выпускает отработанный пар, — товарищ стал рассказывать про дело латыша Люца. Он — извозчик. Торопился с пассажирами. Нахлестывая длинным кнутом лошадей, задел и оборвал телеграфную проволоку. Порешили, что это нарочно, — с целью способствования неприятелю. Пока шел этот рассказ, из дверей судебного заседания выскочил казенный защитник — офицер. Неверной походкою и весь дергаясь, прошел он мимо нас и кинул на ходу: «Мясорубка действует исправно!»

Наконец, показался А. С. Лыкошин с делом в руках. Мы условились, что наведаюсь к нему на следующий день, к концу присутствия: будет ли для меня письмо к Ш врову. Прощаясь, А. С. Лыкошин посоветовал раздобыть письмо к начальнику штаба Главнокомандующего Рузского — генералу Бонч-Бруевичу. Я поехал к литератору Бонч- Бруевичу, которого знал по Киеву, со времени процесса Бейлиса. Он дал теплое письмо к брату, прося за Гольцмана и Люца.

На другой день написал с маху кассационную жалобу, завез в суд, заехал в штаб за пропуском в Псков и отправился к Гольцману.

С тревогою ждал я его появления. — Та же горькая улыбка, то же недоумевающее пожимание плечами, — но исчезло выражение укоризны. На месте ее новое: какая-то покорная примиренность.

С преувеличенною бодростью рассказал ему об «успехах». Он заметил мягко:

— Зачем себя тревожите? Помогать надо тем, кому еще можно помочь. А мне... Я вот ночью думал: отчего мне страшно стало. Для смерти открыто настежь множество дверей. Она выбрала вот эту, где я никогда ее не ждал. Только оттого и страшно. Но не все ли равно, в какую дверь она войдет...

Потом, с улыбкою, но уже не горькою, а детски лукавою он добавил:

— У нас сказано, что если синедрион постановит хотя

бы один смертный приговор, он должен быть распущен. Если такой закон ввести теперь, хватит ли судей?

Я стал прощаться. В дверях он остановил меня:

— К вам просьба. Когда «это» случится, дайте знать моим.

Он продиктовал имена и адреса.

Из тюрьмы — в Главный военный суд. А. С. Лыкошин передал мне, вместе с добрыми пожеланиями, заготовленное, по поручению Главн. воен. прокурора, письмо к генер. Шаврову. Я выехал ночным поездом. Перед самым от'ездом забежал ко мне товарищ проститься и напомнить о своем подзащитном.

Ночью все мерещился Гольцман, какой то уже нездешний — и рядом с ним громадный латыш с кнутом в руках. Поезд пришел в Псков на рассвете. На вокзале столпотворение. В зале от табачного дыма еле видать. Офицеры, в шинелях солдатского сукна, глотают крутой кипяток. Попробовал и я приспособиться, — не удалось. Вышел на вокзальный под'езд, — извозчиков расхватали. Оно и лучше: до города порядком и на морозе разгоню ходьбою сонливость, упорно наверстывавшую бессонную ночь. По прежним защитам хорошо знал Псков. Дом, в котором квартировал ген. Шавров, находился далеко от вокзала. Когда дошел, был конец седьмого часа. Дом — угловой: парадный ход — на одну улицу, ворота — на другую. Я стеснялся разбудить звонком, — пошел через ворота. Деньщик чистил платье.

— Еще спят. Наведайтесь попозже, — так через полчаса-час.

— А я не пропущу генерала?

— Не знаю. Они столуются и чай пьют в офицерском собрании. Как оденутся, сейчас же уходят. Может, по дороге куда-нибудь зайдут.

— Нельзя ли подождать в комнатах?

— Негде. В комнатах, везде, казенные бумаги. Велено никого туда не пускать.

Пришлось, чтобы не пропустить Шаврова, маршировать от ворот к под'езду — и обратно. Сеял снег. Присядешь на лавочке у ворот — и с испугом вскакиваешь: не ушел ли через парадную дверь. В этой невеселой прогулке много было передумано.

— А если бы этот самый Гольцман, еще четыре дня

6

тому назад тебе совершенно неведомый, умирал от болезни и позвал тебя, — пошел ли бы ты к нему?

— Вряд ли.

— Не вряд ли, а наверное не пошел бы к нему. — Мало ли народу умирает. Почему же на 51-ом году, нездоровый, ты кинулся в чужой город и мотаешься в морозную рань по тоскливым улицам? Правду сказал вчера Гольцман: не все ли равно в какую именно дверь войдет смерть? — Пусть так, но я не с'умел его защитить, — значит, и я повинен в его гибели.

И тут я понял то, что бессознательно чувствовал всегда: что бы там ни говорили, ни писали о «слюноточивой гуманности», человеческая совесть никогда не примирится с дверью, которую прорубил для смерти сам человек. И тот, кто захотел, хотя бы для отдельного случая, захлопнуть эту дверь, не перестанет тянуть ее из всех своих слабых сил, пока перед ним еще мерцает, какая ни на есть, надежда.

В конце восьмого часа я снова наведался. Меня впустили — и через несколько минут вышел ко мне легкой юношеской походкою высокий, стройный, всегда приветливый генерал Шавров. Несколько общепринятых фраз — и Шавров распечатал письмо Лыкошина.

— Вы опередили дело. Оно еще не пришло. Отчего вы так расстроены?

Я об'яснил основания, почему считаю Гольцмана безусловно невиновным. Добавил, что накануне подал кассационную жалобу; она слаба, но, при сильном желании, есть за что ухватиться.

— Кассация вряд ли для вас будет полезна. Вероятно, и новый суд повторит приговор. Не лучше ли добиваться смягчения приговора — замены смертной казни краткосрочной каторгою?

— Горячо благодарен. Но невиновному и каторга не сладка.

— Вы упускаете из виду, что в дальнейшем участь осужденного будет всецело зависеть от Главного военного прокурора. Ему не трудно будет, путем дальнейших смягчений, свести на-нет каторгу.

— Еще раз благодарю. Но беда не ходит одна, — у меня и другая просьба: за подзащитного моего товарища, латыша Люца.

Сообщил все, что знал.

— Хорошо, и о нем можно похлопотать. Только вот что: на вас лица нет, — ехали бы с первым поездом обратно. Он назвал ближайший поезд.

— У меня на руках письмо к генералу Бонч-Бруевичу от его брата. Хочу передать и лично об'яснить.

— Не уверены в силе моего ходатайства перед Главнокомандующим? Конечно, чем крепче, тем лучше. Но у вас неверное представление о Бонч-Бруевиче. Он — жестокий, грубый — и, что хуже всего для вашего клиента, — ненавидит евреев. Я постараюсь выполнить обещанное, минуя его. Вы колеблетесь? Хочется использовать все возможности? — Отлично. Отдайте мне это письмо. Если представится необходимость, я передам. Не изнуряйте себя без надобности.

Я последовал доброму совету Шаврова. Заехал к местному коллеге К-ну. У него отогрелся, отлежался. Он был внимателен, ласков, но не мог скрыть угрюмости.

— Измучились мы здесь, — ответил он со вздохом на мой вопрос.

Через несколько часов я сидел в вагоне, по дороге домой. На душе было тихо. Но, нет-нет, зашевелится пережитый ужас.

Спустя несколько дней пришел ко мне с радостной вестью А. С. Лыкошин. — Накануне приезжал в Петроград ген. Шавров и сообщил ему, что добился смягчения участи и Гольцмана, и Люца.

— А вот сосплетничаю, — добавил, смеясь, Лыкошин, — Шавров рассказывал, что Бонч-Бруевич неистовствует. Подумайте — кричит он всюду — каждый день приговаривают к смерти — и ничего: никто не пошевелится. А тут, в кои веки попался жид, сейчас прискакал на фронт жидовский батька. Понятно, жидовская солидарность. Но мы то хороши: не устояли, размякли.

V.

Ненависть стала врываться и в боевые ряды: восставал брат на брата, забывая общие переживания, муки.

Приехала из Полтавщины в Петроград искать правды полуголодная старуха Герман. Стучалась во все двери, — постучалась и ко мне.

С самого начала войны полк, в котором служил солдатом ее сын, сражался на передовых позициях. Судьба хра-

нила сына от врагов, — не сохранила только в последнюю атаку от своего. Немцы бросились на окопы. После горячего штыкового боя удалось их отбить. Герман прилег на землю отдохнуть. Проходил свой же брат, «разводящий».

— Ишь, жидюга! В грязи валяется; шинель всю измазал. Встать!

И пнул его сапогом в грудь, Герман отругнулся и пригрозил прикладом. Разводящий отошел, навел на Германа винтовку — и выстрелил. Пуля угодила в правое плечо. Пришлось отнять руку, искрошить плечо. Германа продержали долго в госпитале. Потом представили в комиссию. Она уволила его, за полной инвалидностью, в отставку. Полуживого привезли Германа в Полтавщину, к матери. Она ходила за ним — отхаживала. К концу третьей недели явилась полиция: Германа требуют назад, в военный суд. Обвиняют в поднятии оружия против начальника. Как только поправился, — арестовали и увезли. Военный суд приговорил его, безрукого инвалида, к каторжным работам с лишением всех прав состояния.

Я не столько слушал рассказ матери, сколько глядел в ее глаза. Страдающие, молящие и в то же время с кремневой упрямкою. Они говорили: если можешь, помоги, но только безо всех этих — «закон»... «военное время»... «терпение»: нет моего терпения!

Достаточно раз-другой в жизни нырнуть в такие глаза, добраться до дна души, чтобы отречься навсегда от непостижимой мужской гордыни — о нашем мнимом превосходстве над матерями, женами, сестрами.

Я глядел в глаза старухи Герман — и видел в них вечно встревоженные глаза моей матери, — всех матерей.

Таким глазам не отказывают, — по крайней мере, нельзя отказывать.

Не дожидаясь заключительного вывода из ее рассказа, понятного и без просительных слов, я остановил ее:

— Боюсь прозевать нужного для вашего горя хорошего человека. Наведайтесь ко мне вечером.

Я отправился к Главному военному прокурору. А. С. Макаренко — тепло и просто, как всегда — пошел навстречу чужой беде и сразу сказал, что, если слова матери подтвердятся, он изготовит всеподданнейший доклад о замене каторги недлительным тюремным заключением.

— А там видно будет, — заметил он на прощание.

Вечером, когда я заглянул из дверей кабинета в приемную, меня охватила радость: среди других сидела старуха Герман. Не справляясь об очереди, я пригласил ее первую: радость всегда эгоистична. Сообщил ей обещание Главного военного прокурора.

В счастливых глазах матери потухла кремневая упрямка, но через несколько минут загорелась с новою силою.

Мне было ясно, что не пройдет месяц-другой, — увижу старуху снова: не успокоится, пока не вызволит сына совсем.

VI.

Еще один случай из той же области, — случай фантастический, но, к несчастью, достоверный.

За несколько месяцев до февральской революции мне сообщили, что находящийся в одном из петроградских военных госпиталей на излечении от ран солдат Медведовский, желает меня видеть. Мы свиделись, — и вот, что он мне рассказал:

В последнее время, вместе с единоверцем своим Дацковским, он служил в команде разведчиков. Оба они за боевые отличия были награждены георгиевскими крестами: Дацковский — четырьмя, — а он, Медведовский, — тремя. Их полковой и ротные командиры, люди справедливые и добрые, относились к ним всегда внимательно и ласково. Ротный нередко звал их к себе, у него встречались с офицерами. С большой теплотою относился к ним и священник. Назначили нового полкового командира Яхонтова. Вскоре после его приезда состоялась раздача знаков отличий, присужденных еще при прежнем командире. В числе награждаемых были: Медведовский — третьим георгиевским крестом, Дацковский — четвертым. Когда Яхонтов начал раздачу и увидал, что приходится раздавать отличия и евреям, он рассердился и крикнул: «Что? Кресты жидам? Своих, что ли мало»!

Передал раздачу старшему офицеру и ушел.

Через несколько дней группа разведчиков, в том числе и Дацковский, была послана, под начальством «старшего» Мишкина, на ночную разведку.

Вернулись на рассвете без Дацковского. Медведовский спросил Мишкина — где Дацковский. Мишкин пробормо-

тал что-то невнятное. Когда через некоторое время он повторил вопрос, Мишкин буркнул: «Убег».

В этот вечер была назначена другая группа на разведку, с тем же Мишкиным во главе. В нее был включен и Медведовский. Вышли поздно вечером. Когда прошло с час времени, Мишкин скомандовал отдых, заплакал и сказал: «Не могу, пускай, — что будет, не могу!»

Медведовский посмотрел на него с недоумением: что такое?

Мишкин поплакал, покряхтел — и открылся:

— Э, все равно! Скажу тебе правду: Дацковского мы вчера убили. Так приказал поручик*).

— За что?

— Не знаю за что. Говорю ж тебе: так приказал поручик. Вчера как итти нам в разведку, призвал меня поручик и говорит: «Дацковский сегодня побежит»... Я посмотрел на поручика, а он опять: «Дацковский сегодня побежит... Не вернется... Понял?»

— Так точно, понял.

— Ну, мы походили — и прикончили Дацковского. Надо хоронить, а лопаты не захватили. Стали рыть голыми руками. Порыли неглубоко, положили и закидали землею.

Поручик утром спросил меня: «Дацковский убежал?»

Я ответил: «Так точно».

Сегодня вечером, как уходить, поручик говорит: «Сегодня побежит Медведовский, понял?» «Так точно, понял».

— Я вот пообещал, а вижу, что не могу, — были мы с тобою всегда приятели.

— Я, — говорит Медведовский, — заплакал и сказал: что тебе из-за меня пропадать. Делай, как обещал.

А Мишкин в ответ: «Не могу!..» И другие поддержали: «За что убивать? — Что начальству не нравишься? Пусть само и убивает...»

Так посидели мы еще с полчаса — закончил Медведовский — потом пошли на разведку и на рассвете вернулись к себе. Утром, после рапорта начальнику нашего

*) Если память мне не изменяет, поручика, заведывавшего командою разведчиков, звали Яковлев.

развед. отряда, Мишкин шепнул, что тот спросил: «А Медведовский убежал?»

И когда он ответил: «Никак нет», поручик рассердился, но ничего не сказал.

Рассказывал Медведовский с увлечением, ярко, со множеством подробностей, как если бы он снова переживал эти страшные часы.

Его изложение захватило меня двойным страхом: одним — от события, непостижимого по своей чудовищности, другим — от мысли, — не сидит ли передо мною сумасшедший.

Я предложил Медведовскому ряд повторных вопросов, осторожно расспросил его про прежнюю жизнь, продержал его около двух часов. К концу, он, видимо, догадался — и со смехом заметил:

— Проверяете, — не брежу ли я? Рад бы об'яснить это бредом.

Я условился с Медведовским о новом свидании через несколько дней. Тем временем направил своего помощника к госпитальным врачам, не заметили ли чего за Медведовским. Пользовавшие его продолжительное время врачи категорически удостоверили, что душевное здоровье его вне сомнения.

В следующее свидание Медведовский показал адресованные ему в госпиталь письма от ротного командира и священника. И тот, и другой, касаясь «ужасного случая» (какого не указано), заклинают его не губить себя, быть осторожным.

Для меня более не было сомнений: Медведовский говорит правду. Темперамент, глубокое убеждение, что лихо надо не упрашивать, а шпарить, шпарить крутым кипятком, как клопов в деревянной кровати, продиктовали единственный вывод: надо заявить прямое обвинение в убийстве не только против исполнителей, но и подстрекателей.

Отправился к А. С. Макаренко.

Он внимательно выслушал. Задумался — и, затем, решительно заявил:

— Нет, дело начинать нельзя. Прежде всего, я не вправе. И без меня вы знаете, что преступления преследуются и судятся по месту совершения. Таким образом, если мне будет подана жалоба, я обязан препроводить ее на фронт. Затем, по существу. Если допустить, что рассказ Медведов-

ского правилен, то, все же, вряд ли что удастся выяснить. — Война с ее условностями и обстановкою — не время и не место для раскрытия таких небывалых преступлений. Вместо раскрытия истины, вы можете довести до того, что свидетели-разоблачители попадут в лжесвидетели, Медведовский — в лжедоносчика, а там — того гляди — и вас могут впутать, как подстрекателя и руководителя. Прибавьте право военной власти на фронте облагать любой род преступлений смертною казнью. Нет, надо дожидаться окончания войны. То, что вы теперь затеваете, безумие.

— Все это — правда, но вся ли? Начать с опасности. — Я ее отлично сознаю, но сознательно не принимаю в рассчет. Меня проглотить, все-таки, не легко: я — ершист. Если же проглотят, — значит, туда и дорога. Что до Медведовского, — у него три Георгия: даром их не дают. Такие люди, если и дорожат жизнью, — то человеческой, но не скотской. Я пугал его достаточно, — не испугал. Юридические же ваши доводы, сильные до неотразимости, не задевают, однако, вашего права, как высшего представителя, военно-прокурорского назора, назначить расследование. Конечно, и его придется вести на фронте в указанной вами обстановке. Все же, не думаю, что правду можно будет затоптать. Расследование, вероятно, не даст сразу матерьяла в отношении подстрекателей, — но большая надежда, что оно даст основную канву, подтвердит главные факты. Если это удастся, не трудно будет добраться и до вдохновителей.. В преступлении, совершенном несколькими лицами, из которых одни — интеллигенты, а другие — простаки, судебной власти всегда помогут, против своей воли, они же сами: интеллигент перемудрит, простак не домудрит, — и правду выпрет наружу, как горб.

— Все это теоретично, а я считаюсь с реальностью.

Спустя короткое время, я повторил, с небольшими промежутками, свои просительские атаки.

Наконец, А. С. Макаренко решил представить этот вопрос на разрешение министра.

Я наведался на другой день после доклада. А. С. Макаренко сообщил, что министр (А. А. Поливанов) сказал:

— Вы знаете его характер. — Он не успокоится и лишь получится неудобная огласка. Лучше произведите расследование.

А. С. Макаренко назначил для производства этого рас-

следования генерала А. С. Лыкошина.

На этот раз победила теоретичность: горб стало выпирать.

Месяца через полтора А. С. Лыкошин сказал мне, что канва преступления установлена, — остается выявить подстрекателей.

Через несколько недель пришла февральская революция — и дальнейшее расследование приостановилось поневоле. Но и добытого достаточно. Надо надеяться, что какая нибудь из Российских исторических комиссий охранит этот материал.

VII.

Этот печальный отдел моих воспоминаний хотелось бы закончить радостным эпизодом, — подарком судьбы, который Вл. Г. Короленко так метко назвал «черной жемчужиной в эффектной оправе». Привожу выписку из сумбурного обвинительного акта*).

2-го сентября 1914 г. военному следователю 3-го армейского корпуса было предложено произвести предварительное расследование по делу о помощи, оказанной жителями г. Мариамполя германским войскам. Согласно обвинительному акту, обстоятельства дела заключаются в следующем: русские войска, отходя на заранее укрепленные позиции, очистили Мариамполь, при чем, почти следом за ними, в город вступили авангарды германских войск. Еврейское население, при появлении германских войск, быстро изменило свое отношение к русским. Русские солдаты ничего не могли купить у евреев, так как они просто запирали

*) «О мариампольской измене». Эта статья была сейчас же после слушания дела в Гл. Воен. Суде, напечатана в «Русск. Ведом». Затем, значительно расширенная, она была передана Вл-ом Гал. Московскому «Обществу распространения правильных сведений о евреях» и появилась в брошюре, под заглавием — «Дело Баршановича», вместе с моей речью и вводной статьей проф. Мих. Гернета. Как видно из присланной мне вдовой покойного, Авдотьей Семен. Короленко, брошюры, Влад. Гал., незадолго до смерти, сделал в ней вставки и разные исправления. Она печатается ныне в «Посмертном Полном Собрании сочинений». Ценные выводы этой статьи я затрудняюсь цитировать, до такой степени они сплетены с добрым отзывом обо мне.

перед ними двери. Им отказывали даже в куске хлеба, который солдаты просили не даром, а за деньги. Между тем, входящих в город немецких солдат даже угощали обедом. Евреи, бывшие в русских войсках, при приближении немцев, ломали свои винтовки и прятались у своих соотечественников (?!). Русские же солдаты, уходя из города, защищались. К приходу германцев на базарной площади собралась толпа евреев и, неся белый флаг, встретила их с хлебом и солью. На другой день, по входе германских войск, немцами был избран бургомистром Гершанович. Он устроил собрание горожан, на котором об'явил, что он теперь бургомистр и что все должны его слушаться; затем, назначил своим помощником поляка Бартлинга. Гершанович, в качестве бургомистра, с большой готовностью исполнял все желания немцев, распоряжался доставкою продуктов для войск и поставкою лошадей для обоза. Население отдавало продукты и лошадей неохотно — лишь по настойчивому требованию Гершановича.

Все обвинение было основано на показании мусульманского имама Байрашевского. Через месяц — 2 октября — состоялся суд. В судебное заседние были вызваны два свидетеля Байрашевский и Пендрило. Последний ничего существенного не показал, но Ибрагим Байрашевский настойчиво обвинял и Гершановича, и Мариампольское еврейское население. Напрасно бился защитник Гершановича — один из лучших провинциальных адвокатов: Гершанович был признан виновным в способствовании неприятелю и приговорен к лишению прав состояния и каторжным работам на восемь лет. Бартлинг был оправдан. Приговор был обращен к исполнению — Гершанович стал отбывать наказание в Ярославской каторжной тюрьме.

Спустя несколько месяцев, защитник и семья Гершановича обратились ко мне с просьбою ходатайствовать о возобновлении дела вследствие вновь открывшихся обстоятельств. Мои хлопоты продолжались более года: приходилось работать по мелочам, по кусочкам, осторожно, — как выковыривают занозу. Достаточно указать, что, не желая губить дела и не имея формальной возможности удовлетворить мое ходатайство, Главный Военный Суд не назначал дела к слушанию около полугода.

Горе состояло в том, что вновь открывшиеся по делу Гершановича обстоятельства, несмотря на их разительность,

не подходили вполне под строгие, скупые определения закона. Возобновление разрешенных дел — настолько редкий случай в летописях суда, что за 55 лет действия в России Судебных Уставов на сотни тысяч разрешенных дел не наберется и сотни возобновленных.

Так было не только у нас, но во всем мире. Даже в такой стране, как Франция, еще в 1890 г. по делу Бараса, приговоренного к смертной казни по обвинению в убийстве, обнаружилось бессилие процессуальных законов исправить несомненную судебную ошибку. Не было выхода, — нашли обход: ликвидировали дело помилованием. Везде, вместо того, чтобы дать правду, предпочитают откупиться милостью.

Такую милость можно было бы получить и для шестидесятидвухлетнего Гершановича, — но вместе с ним осуждено все еврейское население Мариамполя. Ему могла дать удовлетворение только правда.

Когда, наконец, дело было назначено к слушанию 28 июля 1916 г., — я в своей речи откровенно заявил Главному Военному Суду:

— Если вы потребуете от нас представления узко формальных поводов к возобновлению дела, мы заранее признаем себя побежденными. Нет у нас судебного приговора — ни об осуждении за это самое преступление другого лица, ни о признании судом лжесвидетельства кого-нибудь из допрошенных свидетелей. Наше оружие без формального клейма. Но оно крепкое и верное. Оно — в чудесной, чисто сказочной сцепленности фактов, — сцепленности, которой никогда не придумаешь.

И действительно. — Прошло лишь несколько недель после осуждения Гершановича, как перед тем же корпусным судом сидел на скамье подсудимых изобличенный в государственной измене, в состоянии на службе у немцев тот же Байрашевский и обвинял его тот самый прокурор, который еще недавно в его показании — и только в нем одном — доверчиво черпал матерьял для обвинения Гершановича. Улики были до такой степени подавляющими, что Байрашевский склонился под их тяжестью и принес повинную. Это он выехал на автомобиле навстречу вступающим немцам и руководил их действиями в городе. Это он расклеивал по ночам те самые прокламации, в расклеивании которых — лишь несколько недель

назад — он обвинял в том же суде еврейскую молодежь. Суд признал его изменником и приговорил к каторге. И только смерть, последовавшая через 2 месяца после осуждения, лишила судебную власть возможности привлечь его к ответственности за лжесвидетельство по делу Гершановича. Его показанием на суде против Г. руководил тонкий расчет: своим пламенным обличением отвести всякое подозрение от себя и других агентов... Казалось бы, больше матерьяла для реабилитации Гершановича не требуется. Но судьбе, так жестоко надругавшейся над его старостью, угодно было осыпать каторжанина юридическими щедротами. В «Русском Инвалиде» (оффициозном военном органе) появилась статья, за подписью М. Бернацкого, под заглавием — «Пруссаки в Мариамполе». Автор статьи — генерал, военный судья — удостоверил, что через две недели после отступления немцев, он посетил Мариамполь и, по свежим следам, допрашивал свидетелей - очевидцев. Главнейший из них жандармский унтер - офицер Гордей. Когда немцы начали вступать в город, он, по распоряжению начальства, остался, чтобы следить за неприятелем и поведением населения. Гордей до такой степени увлекся наблюдением, что не успел снять мундир и очнулся только тогда, когда услышал позади себя топот лошадей и, обернувшись, увидел, что несколько неприятельских кавалеристов с опущенными пиками несутся на него. Гордей бросился в соседний проулок и вбежал в дом еврея Фрейберга. Тот отвел его на чердак, переодел его в запачканное старое платье маляра и сбрил ему усы. Через несколько минут из дома Фрейберга вышел маляр, с ведром в одной руке и кистью в другой, — и, беззаботно мурлыча песню, прошел мимо прусских кавалеристов, продолжавших разыскивать исчезнувшего куда-то жандарма. Вот оно, пресловутое еврейское предательство. Первый случившийся еврей, в дом которого неожиданно вбежал Гордей, рискует своей жизнью, чтобы спасти его. По законам войны, этот еврей заслужил веревку. А, затем, еще один вывод, который сам напрашивается. Гордея, как местного жандарма, не могла не знать значительная часть еврейского населения крохотного еврейского городишки — и, все же, жандарм живет там спокойно: не нашлось ни одного еврея, который указал бы его немцам. Кроме того, оставался, по распоряжению своего начальства, нижний чин одного из гусарских полков. Не удивительно, что допрошенный, по моей просьбе, унтер-офицер Гордей дал теплый отзыв не только о Гершановиче, но и обо всем еврейском населении Мариамполя. Он удостоверил, что, когда горожане избрали по требованию немецкого коменданта, бургомистра и остановили свой выбор на Гершановиче, тот заплакал и сказал избирателям: «Вы хотите отдать меня в жертву: я совершенно больной».

По собранным Гордеем сведениям, немцы заставляли Гершановича, под угрозой смерти, доставить им лошадей, от чего тот упорно отказывался — и, в конце концов, лошадей им не доставил.

Из своей речи перед Главн. Военн. Судом я приведу лишь несколько заключительных слов: «С болью и скорбью отхожу я от этого дела. Много польских городов и селений залито кровью, окутано дымом пожаров. Но из крови, из этого пепла возрождается в пурпуре и злате старая Польша. Сбываются несбыточные, казалось бы, сны благородных мечтателей и поэтов. Рядом с польским народом, на то же земле живет другой народ, родной мне по крови. Он тоже отдал великому общерусскому делу и кровь своей молодежи, и достояние свое. Он стоит теперь на пепелище обезкровленный, обнищалый, оболганый, заклейменный кличкою — изменник!... Что ж, у каждого свое счастье. Один из сыновей этого народа, нестерпимо страдая от судебной ошибки, спрашивает моими устами: за что меня раздавили? — Я не знаю ответа. Я лишь верю, что рука, нанесшая рану, залечит ее. И если вы не только возобновите дело Гершановича, но и дадите ему доверчиво, в ожидании нового приговора, свободу, — совершится не милость, а лишь справедливость».

Помощник Главн. Военн. Прокурора ген. Корейво поддержал меня в своем заключении и указал, что вряд ли может быть сомнение в том, что, если бы эти новые обстоятельства имелись в распоряжении суда, осудившего Гершановича. он был бы оправдан.

Главный Военный Суд определил: состоявшийся о Гершановиче приговор отменить, дело о нем производством возобновить, о чем сообщить Главнокомандующему северного фронта и, вместе с тем, предложить Главн. Военн. Прокурору озаботиться о немедленном освобождении Гершановича от отбывания наказания и оставлении его на свободе, под надзором полиции.

Через несколько дней явился ко мне высокий, благородного вида старик. Он живо описал поздний вечер 28 июля, когда в каторжную тюрьму прибыл прокурор суда и разбудил его поздравлением о выяснившейся судебной ошибке. Его повели немедленно в кандальную, расковали, сняли ножные и ручные оковы, которые он носил почти два года. Старик тронул меня незлобивостью, безропотностью и мягким отзывом о тех, кто причинил ему напрасные страдания.

Главнокомандующий северного фронта передал дело о Гершановиче в соединенный суд корпусов 5-й армии. Судебное заседание было назначено на 28 сентября в Двинске. Я решил ехать туда, так как опасался фронтового упрямства и товарищеской солидарности, столь обостренной войною.

В то время двинская крепость была осаждена немцами и в'езд требовал пропуска военных властей. Пришел с Гершановичем в Главный Штаб. Нас встретил белобрысый, с водянистыми, на выкате, глазами, с утрированно-грубым, рыкающим голосом офицер контр-разведки. Я пред'явил ему вызывную повестку Суда 5-й армии.

— Все эти суды нас не касаются. Посмотрю, — можно ли пропустить на фронт Гершановича.

Велел наведаться через три дня. Пришли.

— Еще не собраны сведения. Наведайтесь завтра.

Я указал, что завтра канун суда, что повестка, как видно из пометки, и без того сильно запоздала, что, если мы выедем завтра, то заставим суд нас дожидаться.

— Меня это мало занимает. Сказал завтра — и конец.

Пришли на следующий день. — Разрешение на в'езд в Двинск дано не будет.

— Дайте удостоверение, что отказали подсудимому в разрешении явиться в суд. Иначе, он будет арестован за уклонение от явки.

— И отлично. Таких господ не следует оставлять на свободе.

Я кинулся к А. С. Макаренко.

Его возмутило такое наглое отношение к требованию суда. Он направил к генералу Тяжельникову полковника Иванова с категорическим требованием выдать немедленно пропуски. Ген. Тяжельников выразил сожаление по поводу случившегося и распорядился о пропуске.

Выехали мы в тот же вечер и попали в Двинск с опозданием. Проехали по пустынным, словно вымершим улицам. Все время бухала немецкая артиллерия.

Судьи уже давно были в сборе. Об'яснился. Открыли заседание. Председательствовал председатель суда генерал Рудаков. Обвинял тот же прокурор, что и в первый раз. Он оказался упрямым и при новых обстоятельствах поддерживал настойчиво старое обвинение. Втечение трех с небольшим часов дело было закончено. Суд вынес оправдательный приговор.

Когда я зашел в судейскую комнату откланяться, председатель показал мне вопросный лист*). Меня охватила радость. Первый вопрос гласил: доказано ли, что в сентябре мес. 1914 г., по вступлении в г. Мариамполь германских войск доставлялись н а с е л е н и е м г о р о д а припасы и лошади? — Ответ суда отрицательный, — а остальные два вопроса, посвященные Гершановичу, оставлены, за отпадением самого события, без ответа.

Оправдан не только Гершанович, но и все население.

*) Устав военно- судебный не допускал публичной постановки вопросов; они подлежали постановке при самом совещании.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О ПОРУЧИКЕ ПИРОГОВЕ.

В петербургскую рань одного из декабрьских четвергов 1908 года ко мне пришел молодой коллега, присяжный поверенный А. Т. З-ль, принадлежавший тогда к партии социалистов-революционеров.

— Вчера поздно вечером, — сказал он, — я получил из Владивостока телеграмму, уполномачивающую меня на защиту в Главном Военном Суде поручика Пирогова. Он — ценный партийный деятель и выдающихся нравственных качеств. Я много слышал о нем от здешних товарищей. Они рассказывали, что Пирогов приговорен к повешению, что владивостокскіе адвокаты считают его кассационную жалобу безнадежной. Не знаю — как быть... У меня ни жалобы, ни приговора, ни обвинительного акта. Короче: ни одной бумаги. Телеграфное избрание защитником пришло для меня неожиданно. Я не считаю себя вправе принять такое тяжелое дело. Примите защиту вы. Поедем в Главный Суд. В заседании я сделаю передоверие: телеграмма предоставляет мне это право.

Я заволновался:

— Сила моей защиты не только в ораторских способностях. Она — в тщательном изучени дела и строгой продуманности аргументации. Это, главным образом, обусловливает доверие ко мне судей, без которого защита не только бесполезна, но даже вредна. Хорошо, если курьер привезет от докладчика дело заранее, — с утра: можно будет хоть перелистать. А если нет?.. Если, как это часто бывает с крупными делами, докладчик привезет его с собою: тогда как?

Взять на себя, без пользы для дела, муку ответственности за чужую жизнь, приобщиться к виновникам смертной казни...

Коллега заколебался. Помолчал. Затем, едва сдерживая волнение, тихо заметил:

— Я знаю: каждая защита, связанная с угрозою смерти, обходится вам дорого. Но разве вы находите, что, при создавшихся исключительно тяжелых условиях, участь Пирогова в моих руках более обеспечена?

Он прав. Надо ехать.

Я стал переодеваться, отдавая на ходу распоряжения. Попросил моего ближайшего помощника Влад. Вас. Буткова, которому я многим обязан, заменить меня, где нужно. Делал я все это быстро, наспех, так как чувствовал, что надвигается, забирает меня в полон исполненное страдания и в то же время непередаваемого счастья боевое настроение судебного защитника. Настроение, когда отливает все будничное, себялюбивое, — когда душа, словно тело перед подступившей вплотную смертью, облачается во все чистое.

В эти часы нет самолюбца, гранильщика приманчивых слов с изменчивыми мыслями.

Все в тебе, начиная с сердца, сжимается, подбирается, тянется в струну к одной лишь цели, к единственной точке — зачинающейся борьбе.

Молишься, будто школьник перед экзаменом, — и, как школьник, мешаешь молитву с гаданием. Стыдишься, негодуешь на себя — и, все же, загадываешь на номера домов, трамваев, на листки откидного календаря... Что ни попадет на глаза, все идет на эту потребу.

Готовы. На Мойку, к Главному Военному Суду. За последние, до мартовской революции, 12 лет почти каждый четверг (день заседания Главного Военного Суда) проделывал я этот невеселый путь.

Как это случилось, что я — немолодой уже адвокат, с твердой репутацией «кассатора», примкнул к политическим защитникам?

Что привело меня к ним?

Политические страсти? — Нет, — и тогда, как теперь, я был далек от политики.

Честолюбие? — Еще менее: честолюбцы идут через политику к известности, но никогда — наоборот.

Привел меня случай, а оставили там навсегда переживания юности. Тяжелые, обидные, они вспыхнули через много лет с непобедимой силой, сжигая тонкий налет сытого покоя.

Как с первого взгляда ни странно, в политических процессах я всегда предпочитал Сенату Главный Военный Суд. Однако, о военных судах, разбиравших дела по существу, у меня сохранилась печальная память.

В отделение уголовного кассационного департамента Сената, ведавшее политические дела, назначали либо жестоких, либо слабовольных сенаторов, действовавших по министерской указке. К закону они относились, как себялюбцы к безответной жене: презрительно-снисходительно. С нескрываемой досадой слушали они в судебных заседаниях ссылку на закон, анализ его, а упоминание об его мотивах, комментаторах, о мнениях выдающихся ученых, упоминание о сравнительном законодательстве встречалось, как личная обида.

Таков был, по преимуществу, и коронный состав особых присутствий судебных палат.

И если на мундирах штатских судей нет крови осужденных, — то не из-за судейской мягкости: исполненное лукавства и ханжества правительство предпочитало пятнать братской кровью военный мундир.

Для меня нет сомнений, что, будь право применения смертной казни предоставлено гражданским судам, процент наказания смертью достиг бы в них большей высоты, нежели в судах военных. В этом порукою имена Лагоды, Крашенникова, Хлодковского и др., не уступавших в изощренной жестокости генералу Никифорову и ему подобным. Я называю лишь умерших или пребывающих вне пределов мстительной досягаемости. Других не называю: не хочу, чтобы палачи были обращены в мучеников.

Среди военных юристов, особливо более ранних выпусков, ощущалось хоть некоторое уважение к закону.

Сказывалось ли тут взращиваемое с детства чувство личного достоинства, или, быть может, новизна работы, — отправление суда по политическим делам — не успела еще закидать душу отупляющими навыками — не знаю; но серьезная и энергичная защита сознавала, что в военных судах

труд ее не бесцелен, если только по делу не подбирались угодные высшему начальству судьи.

Всюду я опасался не столько состава преступления, сколько состава судебного присутствия.

В Главном Военном Суде ,— где, в силу самого закона, руководящая роль принадлежала Главному Военному Прокурору, совмещавшему в своем лице и Начальника главного военно-судного управления, т. е., военного министра юстиции, — случаи расхождения судей с его заключениями были, тем не менее, нередки.

Я вижу улыбку: поклонник, мол, военных судов.

— Нет, не поклонник. Помните: у Добролюбова по поводу «Грозы». «Хороша, — говорит он, — та среда, где завидуют мертвецам, да каким: самоубийцам». Не избаловало нас гражданское правосудие.

Да кроме того...

Кроме того, я чту заповедь: не укради. Чту — и верую, что она относится не только к чужому кошельку, но, в неменьшей мере, к чужой работе, к чужим заслугам.

...Вот, не прерывая молчания, обогнули мы Исаакиевский собор и свернули на Мойку.

Несколько частных домов. Потом Военно-Окружный Суд. Закрадывается тоска. Почему-то, когда я думаю об этом здании, где мне памятны всякий уголок, каждый поворот, предо мною выступает только одна комната, — крохотная, без окон, совершенно темная комната, куда на время судебных перерывов отводили подсудимых. Сюда защитники, с особого разрешения, вводили на несколько минут родственников своих подзащитных.

Нельзя им было разглядеть друг друга, — но тем сладостнее звучала музыка голосов, тем нежнее рука касалась волос, лица, складок платья. Нередко думал я: как за эту комнату будут мстить, когда придут дни великого гнева.

Вот военно-юридическая академия. За нею Главный Военный Суд — с окнами на р. Мойку, по другую сторону которой высятся громадные казармы гвардейского экипажа. Своими холодными гляделками уставились они на суд, — и, словно, поддразнивают дерзко: ничего, ничего... попрыгайте еще маленько... когда пробьет час, живо вышпарят вас пулеметами. Казармы не хвастали. Оне знали — какое чортово варево из желчи и слез варилось много лет в их стенах. Оне помнят — как весною 1906 г. их осаждали сводные ча-

сти гвардейских полков, как выводили глухою ночью, одного за другим, восставших матросов.

Вошли в Главный Военный Суд.

Началось плохо. Как на грех, докладчик не выслал заранее дела, — привезет с собою. Рассчет на предварительное, хотя бы поверхностное, ознакомление не оправдался. Остается лишь надежда на напряженное прислушивание к докладу и на параллельную логическую работу по отбору и комбинированию быстро проносящегося матерьяла.

Меряю взад и вперед корридор. Избегаю останавливаться с проходящими чинами канцелярии, прокуратуры. — Боюсь обнаружить при разговоре полное незнание защищаемого дела.

Стали с'езжаться судьи — и через несколько минут открылось заседание.

Докладывал дело генерал Басков. Обладая прекрасной памятью, он во время доклада никогда не заглядывал ни в акты судебного производства, ни даже в заметки. Уставится немигающими глазами в стену — и так, без запинки, ведет доклад, как бы сложен и длителен он ни был.

Готовясь, обычно, тщательно к делам, я любил его доклады, ровные, без тряски, словно на патентованных шинах. Но в этот день меня раздражали и его почтенная седая борода, и его никогда не видящие глаза, и этот незапинающийся ни на секунду голос. Хотелось другого докладчика, — докладчика, заглядывающего после каждого абзаца, попеременно, то — в свои заметки, то — в судебное производство: это дало бы хоть отдельные секунды для осознания обгоняющих друг друга частей доклада.

— Дело Никольско-Уссурийской военной организации, — зазвучал мерно-быстро голос генерала Баскова. — Приговором Приамурского военно-окружного суда бывший (почему «бывший» — не понимаю) поручик Туркестанского Стрелкового Батальона Вячеслав Пирогов, а также Касторский, Тебенькова и Иванов признаны виновными в том, что в 1906 г. в Никольско-Уссурийске составили тайное общество, имевшее своей целью ниспровержение существующего строя, введение республиканского образа правления, лишение, если потребуется, жизни царствующего императора... Для осуществления этой цели вовлекались в организованное общество нижние чины, как Никольско-Уссурийского,

так и других гарнизонов, которые должны были, по накоплении достаточных сил, поднять вооруженное восстание... Суд приговорил: подвергнуть Пирогова смертной казни через повешение, а остальных — ссылке в каторжные работы на разные сроки.

Всеми подсудимыми принесены кассационные жалобы. Пирогов жалуется... — Докладчик излагает, пункт за пунктом, его жалобу. Проносится первый пункт — вздор, второй — бит; третий — тоже... Еще один пункт: жалуется, что не допустили к его защите присяжного поверенного. Но тут же сам жалобщик добавляет: конечно, нельзя допустить, так как он, Пирогов, обвинялся в чисто-воинском преступлении — в военном мятеже (ст. ст. 112 и 110 кн. XXII Св. военных постановлений), но имея в виду, что уже состоялось лишение его по суду прав состояния (в голове проносится: как это значит, и до этого дела судился!), — то во время настоящего суда, не будучи уже военным, получил, будто бы, право на гражданскую защиту. Ребячество; для разрешения подобных вопросов важно лишь то, — кем был подсудимый во время совершения преступления, а не суда над ним.

Снова припадаю к мерному течению доклада. Для оценки — звучит голос Баскова, — указания жалобщика на лишение его свободы в праве выбора защитника надлежит обратиться к выводам обвинительного акта, по которому подсудимые преданы суду. Они гласят: описанные деяния предусмотрены в отношении — Иванова, Касторского, Тебеньковой 3 ч. 102 ст. угол. улож., а в отношении Пирогова — и 110, 112 ст. ст. XXII кн. Св. воен. постановлений. Генерал Басков отрывает глаза от стены, полуоборачивается к председатею: доклад, значит, окончен.

— Ваше слово, г. защитник.

Мое слово... Но не могу начать. — Что это? Не ослышался ли я, не пригрезилось ли? Произнес ли докладчик перед поименованием воинских статей, по которым судился Пирогов, союз — «и»? — Конечно, мне почудилось: разве возможно, чтобы столько народу, смотревших до меня дело, не заметили главного?

— Ваше слово, г. защитник, — повторяет с легким удивлением председатель.

Я решаюсь: — Г. председатель, — дело идет о человеческой жизни; простите мою несколько необычную прось-

бу, — нельзя ли еще раз повторить только что оглашенные выводы обвинительного акта.

Председатель наклоняет голову в сторону докладчика, и — тот, раскрыв, в отступление от своего обыкновения, дело, читает: описанные деяния предусмотрены — в отношении Иванова, Касторского и Тебеньковой — 3 ч. 102 ст. Угол. Улож., а в отношении Пирогова — и 110, 112 ст. ст. Св. военных постановлений.

Закипает, подымается, бурлит волна радости.

Небольшой, с низкими сводами зал, несмотря на поздний час декабрьского дня, наполняется ослепительным солнцем. Все во мне и вокруг поет: Пирогов спасен, спасен...

— Не надо речей, г. г. судьи! Сильная защитительная речь в одном союзе, точнее — в одной букве: «и». По 3 части 102 ст. угол. уложения, — т. е., по обвинению в составлении преступного сообщества для ниспровержения существующего строя, преданы суду не только Иванов, Касторский и Тебенькова, но и б. поручик Пирогов. Оттого, что к этой общегражданской статье прибавлены еще и воинские, не изменяется бесспорное право всех судящихся по ней на гражданскую защиту. На Пирогова идут с угрозою смерти — и в то же время отнимают у него законное право выбора защитника. Здесь, в кассационном суде, не столько важно отношение преступника к закону, сколько отношение закона к преступнику. Скажите же вашим решением, что нельзя отнимать жизнь у беззащитного.

Помощник Главного Военного Прокурора ген. Гурский в заключении своем об'яснил, что сделанное сейчас указание является для него полной неожиданностью, что об этом нет упоминания в кассационной жалобе, а потому не подлежит обсуждению Главного Военного Суда, и что, в конце концов, подсудимый имел военного защитника: — приговор Приамурского военного суда должен быть оставлен в силе.

Надо дать отповедь.

— Я прошу, г. председатель, слова, — не для продления юридического спора. Я ограничусь лишь вопросом: если представитель Главного военно-прокурорского надзора не может ничего возразить против фактической точности моего указания, то в чем находит он основание для признания такого нарушения несущественным? Разве он не согласен со мною, что уголовный процесс, изгоняющий законную защиту, перестает быть судебным состязанием: он — только травля *).

Судьи удалились в совещательную комнату. Во время долгого, свыше двухчасового совещания стали подходить ко мне окончившие занятия чины кассационного отделения и прокурорского надзора, прослышавшие, — как некоторые из них шутили, — про скандал с буквою «и», никем по малости ее непримеченною.

— Знаете ли, с чем вы сегодня сражались? — спросил меня один из них.

— С высочайшей отметкою... — доба'вил он с улыбкою, и стал рассказывать невероятную, на первый взгляд, историю дела.

Прекрасный боевой офицер, оскорбленный разгромом русской армии и напрасной гибелью десятков тысяч русских офицеров и солдат в бесчестно затеянной и небрежно веденной японской войне, поручик Пирогов, со всей энергиею страстной и деятельной натуры, отдался революционной борьбе. Его скоро арестовали, судили и приговорили к расстрелу.

Командующий войсками Приамурского военного округа не дал хода кассационной жалобе осужденного, но во внимание к боевым его отличиям и личным качествам, сохранил ему жизнь, заменив смертную казнь — бессрочной каторгою.

Согласно закона, командующий войсками донес о состоявшейся конфирмации министрам военному и внутренних дел.

На подлинном докладе об этом военного министра Государю Императору благоугодно было высочайше начертать: «Напрасно».

Осведомленный о таковой высочайшей воле, прокурор Приамурского военного суда поспешил, путем юридических ухищрений, поставить на суд тот же самый процесс, как совершенно новый.

Суд и в этот раз приговорил Пирогова к смертной казни.

Командующий войсками, в виду сообщенной ему официально высочайшей отметки, не решился воспользоваться принадлежащим ему правом смягчения наказания — и на-

*) «Право», № за 1908 г.

правил кассационную жалобу вторично приговоренного к смерти в Главный Военный Суд.

— Вот с чем и с кем вы сегодня сражались!

Я стоял оглушенный этой непостижимой жестокостью.

Зачем государь причинил напрасную боль тому, кто именем его даровал милость? Давил на совесть прокуратуры и суда?

А нас в университете учили: право помилования — лучшая жемчужина в короне монарха.

— Не может быть, невозможно! — повторял я растерянно.

— Невозможно! — заметил с раздражением другой офицер. — А случай с генералом Казбичем? Разве не знаете?

— На высочайшем приеме генерал Казбич доложил Государю, что происшедшие во вверенном ему Владивостоке, как почти везде в 1905-1906 г. г., серьезные политические беспорядки удалось прекратить без пролития крови, одними мерами убеждения. Государь внезапно оборвал аудиенцию — и, когда Казбич, откланиваясь, стал отходить, он гневно кинул ему в лицо: «Стрелять надо было, генерал, стрелять, — а не речи говорить...»

Всем нам стало как-то не по себе, — и, постояв без слов минуту-другую, мы разбрелись.

Я вернулся в зал заседания и стал глядеть в белесоватую муть заткавших Мойку сумерков. Судьи все еще не выходили. Мое радостное возбуждение, захлестанное жуткими сообщениями, пугливо отхлынуло. Опять стала забирать меня черная тоска последних лет, которую я обычно ослаблял каторжным трудом, упрямой борьбою, под'емом и без того всегда возбужденных нервов.

...Невозможно, — сказал я давеча офицерам. — Почему невозможно? А дикая резолюция на одном из представлений Государственного Совета?

Года за два до того, отыскивая происхождение интересовавшего меня закона, я стал рыться в отчетах Государственного Совета. Справка как-то не давалась. Стоя у книжного шкафа, я перебирал том за томом, страницу за страницею. Вдруг резнула глаза своей гневной резкостью напечатанная, сбоку на одной из страниц, жирным шрифтом высочайшая резолюция.

Прошло много лет, а она, резолюция эта, горит и сверкает передо мною всеми цветами радуги: «О т м е н ю, когда Я найду это нужным».

Что это? Чем вызвана такая несдержанность, и при том в отношении высшего в государстве законодательного установления, состоявшего в то время сплошь из лиц, назначаемых государем?

Оказалось, что дело идет о «представлении» касательно отмены телесного наказания в отношении одного из сибирских народцев. Рассматривая это представление и удовлетворяя его, Государственный Совет в суждениях своих остановился на тягостном для национального достоинства противоречии: телесное наказание, признаваемое унизительным для покоренного азиатского народца, будет в то же время применяться, как нормальное, к народу-победителю, народу-владыке. Государственный Совет выразил при этом надежду, что миллионы русских крестьян будут в скорости совершенно освобождены от остатков этого позорящего наказания.

Так вот что разгневало монарха в суждениях Государственного Совета: старички бунтуют; они дерзают, хотя и смиренно, прикрыть фалдочками своих виц-мундиров мужицкие зады.

Где же тут Главному Военному Суду бороться с высочайшею волею?..

Вышли судьи. Впиваюсь в их лица. Усталые и в то же время довольные. Оглашается резолюция, несколько негладко средактированная, как это почти всегда бывает, когда приходится менять заготовленную заранее.

Приговор Приамурского военно-окружного суда в отношении поручика Пирогова за недопущением к защите присяжного поверенного, на что он имел право в виду обвинения, пред'явленного к нему и по 3 ч. 102 ст. Угол. Улож., и, не входя в рассмотрение в виду этого, других кассационных поводов, отменить и передать дело в тот же суд, для нового рассмотрения в другом составе присутствия; жалобы прочих подсудимых оставить без последствий.

Обмениваюсь с товарищем З-м рукопожатием, а в дверях два-три офицера-юриста горячо поздравляют меня с победою над высочайшей волею.

Один из них, не удержавшись, с порывистой искренностью замечает:

— Но надолго ли? Увы — дело скоро сюда вернется.

— Не портите хороших минут, — отвечаю я. — Что ж, благословен и день забот, — но не надо его предупреждать. Дайте-ка, лучше подсчитаем: сколько месяцев жизни может дать Пирогову этот день?

— И прокуратура, и суд будут дело гнать. Все же, пока дело уйдет отсюда, пока дойдет до Владивостока, пока состоится новый приговор, и оно докатится обратно до нас, — да пока еще здесь заслушают вновь, месяца четыре, пожалуй, пройдет.

— Ну, вотъ, видите, — как долго жить Пирогову. Он увидит еще одну весну, да какую, — океанскую. Ну, а потом... Потом — скажу, как тургеневский воробей: мы еще повоюем, повоюем.

Офицер-скептик ошибся только на два месяца. — В конце мая дело снова пришло — и заслушали его в июле.

Пришло оно опять со смертным приговором.

В эти шесть недель, в ожидании судебного заседания, я отдавал все минуты, свободные от других дел, Пирогову. Мне стал близок, словно родной, этот безвестный поручик, которого, вотъ уже третий раз, ставят под виселицу. Сколько народу вцепилось в него. Даже Царь.. И мозг мой постоянно буравила забота: надо что-нибудь придумать, надо изловчиться.

С ответственными защитами у меня бывало, как у женщины с беременностью. — Делаешь повседневно дело — и большое, и малое, — как будто ничего не случилось... А на душе, пока не отродишь, все одна тревога, одна и та же кручина.

Рядом с жалостью к молодой жизни, жгло меня и негодование против приамурского военного прокурора, из рабьей угодливости воскресившего при помощи подлога разрешенное окончательно дело. Но как помочь? — Надежды на новую кассацию из-за каких-нибудь формальных нарушений — никакой. Я решил поставить вопрос о неправильности самого возбуждения дела. Что в том, что и по этому «новому» обвинению дважды разбиралось дело, что оно восходило до Главного Военного Суда?

Что в том, что раньше, чем вникнуть в сущность вопроса, меня станут винить в дерзости? Дерзко-то, может быть, и дерзко, — но смерть еще более дерзка.

Пришел день нового рассмотрения дела Главным Военным Судом — 19 июля 1909 г. Пришлось прервать каникулярный отдых в Крыму, но я об этом не жалел: злило царское вмешательство в отправление правосудия.

На этот раз я вслушиваюсь в доклад не так тревожно, как в декабре: все мною изучено, сверено, обдумано до мельчайших подробностей. Знаю заранее, что заключение Главного Военного Прокурора против меня. По характеру доклада улавливаю, что с ним согласен и докладчик.

«Пускай, — думаю я, — пускай: прав я, а не они. Неба не умолишь, а людей всегда можно переубедить».

По окончании доклада, я просил об оглашении вопросных листов, как по первому, так и второму делам. Каждому вдумчивому человеку стало ясно, что и вменяемый в вину период преступной деятельности, и содержание ее, и форма — совершенно тождественны. Разница лишь в наименовании места произнесения Пироговым возбуждающих к ниспровержению строя речей. В первом процессе указана станция Раздольная, а во втором — Никольск-Уссурийский.

Я опускаю здесь свою защитительную речь: строго юридический характер ее вряд ли дает право на включение в общелитературную работу *).

Помощник Главного Военного Прокурора ограничивается выражением недоумения по поводу моей решимости ставить на рассмотрение суда такой явно неправильный вопрос, — ставить много времени спустя, как дело рассматривалось в Военном Суде, и, здесь, в высшей кассационной инстанции. Жалоба, — заявляет он, — должна быть оставлена без последствий.

Не разбил меня, — впрочем, и не бил, а так, походя, смел всю обширную аргументацию, как пылинку.

И то, что еще недавно представлялось мне логически-неотразимым, стало оборачиваться житейски — в умничающую дерзость.

Как часто бывает это с мыслями, выношенными в тиши головы... Идешь на ристалище. — Горишь, трепещешь, рвешься во всю к старту — и, вдруг, обернувшись, видишь, что никакого состязания нет: все скакуны давно уже плетутся вспять, к привычным стойлам, за очередным гарнцем овса. Несколько часов совещания. Я одеревенел — и не жду ничего хорошего. Твердым голосом об'являет председатель резолюцию: приговор приамурского военно-окружного суда

*) Она была помещена в журн. «Право», № 28 за 1909 г.

отменить, а самое дело, как неправильно возбужденное, дальнейшим производством п р е к р а т и т ь. В зале, кроме состава судебного присутствия, лишь несколько военных юристов, да дежурный газетный хроникер.

В глубине души я рад безлюдью... В самолюбивой суете успеха не расплескаю своей радости.

Спускаюсь с лестницы — и вдруг вспоминаю: кто же известит Пирогова?

В прошлый раз я, по обычаю, предоставил это сдѣлать пригласившему меня товарищу. Сегодня его здесь нет: он уехал по неотложному делу. Нет никого из друзей и знакомых Пирогова. Никто у меня даже не справлялся о времени слушания дела. Да и то правда: теперь середина июля — время отдыха, личных радостей.

Подымаюсь обратно наверх, в канцелярию, чтобы из прокурорских ремарок узнать, — где сейча́с содержится Пирогов. Офицер, заведующий столом, показывает мне, кстати, выписку из доклада военного министра — с копиею высочайшей отметки: «н а п р а с н о».

Я хмелею от задорной радости, чувствую себя, словно гимназист, благополучно отбившийся от первого силача в классе, — и по-мальчишески, неожиданно для самого себя, вслух произношу:

— А вот и не напрасно, — совсем не напрасно!

Посылаю телеграмму Пирогову во Владивостокскую тюрьму.

В начале августа получаю от него письмо. Вот оно:

«Позвольте мне в немногих словах высказать Вам свою глубокую и искреннюю благодарность за вторичное возвращение меня к жизни. На такой блестящий и полный успех вашей защиты я не смел и расчитывать, но зато теперь тем более сильна моя благодарность к моему защитнику. Постараюсь исполнить ваше желание — долго жить, хотя бы для того, чтобы, в свою очередь, оказаться когда-нибудь в состоянии быть полезным Вам. Уважающий Вас В. Пирогов.

П.С. Извиняюсь, что не мог поблагодарить Вас немедленно, по получении Вашей телеграммы: денег на телеграмму не было. Письма же можно отправить раз в неделю — пользуюсь первой возможностью сделать это».

Денег на телеграмму не было... Даже полтинника... Значит, во Владивостоке то же, что и в Петербурге: никого! —

Никого, кто бы в эти страшные дни качания между жизнью и смертью согрел, приласкал каторжанина-смертника.

А он: громада... рой... мир... За их счастье отдать себя целиком, — отдать молодую, едва начавшуюся жизнь.

Какая тоска... Много таких беззаветных поручиков Пироговых, безвестных юношей погибло не столько от пули или петли, сколько от одиночества и заброшенности, — гибло, когда разбивалась о каменную стену жизни их несдающаяся, как и они сами, мечта.

Через несколько месяцев появилась в «Русском Богатстве» статья Вл. Г. Короленко — «Фантастическая история поручика Пирогова», — статья, не свободная от некоторых фактических неточностей, так как написана в деревне, без судебного отчета, лишь со слов соседа, известного политического защитника. Но по захвату переживания, красоте взволнованного чувства, по непрерывности творческого напряжения — это, быть может, лучшая работа Короленко в области публицистики. Минутами он поднимается в ней до исторического ясновидения. — Не ясновидение ли, хотя бы эти заключительныя строки:

...«Пожелаем всей русской гражданской жизни, когда и для нее последует освобождающий вердикт высшей исторической инстанции, — сохранить еще силу для радостного устроения новой свободы, а не для одной мести страшному прошлому. И чтобы среди пьянящей, но вперед уже отравленной радости этого будущего освобождения, не встали из крови и слез старые кошмарные призраки, только обращенные в другую сторону».

Страшное предсказание. — Еще страшнее: оно сбылось.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

СРАМ.

(По поводу дела Бейлиса).

Мне приходилось не раз выслушивать и даже читать упреки, что никто из защитников Бейлиса не удосужился до сих пор напечатать свои воспоминания об этом деле.

Внешне упрек этот правилен, но вряд ли справедлив. Скажу лишь за себя: мучительно переживать вновь кошмарные впечатления тех дней.

I.

Для многих со времени процесса Бейлиса прошло уже 20 лет (как давно!), а для меня он окончился только вчера: до такой степени еще ярок срам тех дней.

Этот процесс похоронил ребяческие надежды наивных людей на возможность мирного разрешения исторического конфликта между совестью нации и бессовестностью царского самодержавия. Носитель верховной власти, отдавший для сохранения своих деспотических прерогатив шайкам «Союза Русского Народа» и «Михаила Архангела» весь государственный аппарат, не остановился даже перед интересами правосудия. — Не было ни одного человека в ближайшем окружении монарха, который не был бы убежден в невиновности Бейлиса. И тем не менее, стародавнее русское начало — «судом не мстить, судом не жаловать» — и то было принесено в жертву. Дальше итти было некуда, ибо бессудие всегда приводит к бездне.

Можно без преувеличения сказать, что на деле Бейлиса монархический режим покончил моральным самоубийством:

нация увидела, что она обобрана до последней нитки и что ей остается либо погибнуть, либо покончить с этой роковой для судеб страны силой.

Процесс Бейлиса был смотром всех действенных сил России — и этот смотр показал, что она еще жива, что ее не удалось задушить ни самодержавной власти, ни ее прислужникам.

С первых же дней возникновения дела об убийстве Андрюши Ющинского я был убежден, что предстоит не еврейский судебный процесс, а процесс чисто русский. И, действительно, русское общество, русская наука, русская литература и журналистика встрепенулись. Едва наметились замыслы правительственной власти, как они встали грудью за Бейлиса, — и вопрос об его оправдании стал вопросом национального достоинства. Короленко, Горький, Милюков быстро сорганизовали движение среди русских ученых, писателей и журналистов.

Горький, о котором теперь ходят подлые легенды, отозвался первым. Из Италии, с острова Капри, где он в то время спасался от обострения мучившей его чахотки, была прислана мне телеграмма с поручением включить его имя в число протестантов: Горький был уверен, что такой протест неминуемо сорганизуется.

П. Н. Милюков, по собственному почину, взял на себя организацию протеста среди ученых; В. Г. Короленко быстро сорганизовал протест литераторов и журналистов.

Для меня, выросшего в русской среде, из'ездившего по защитам Россию вдоль и поперек, не было ни малейшего сомнения в исходе процесса: я верил, я знал, что совесть русского человека никогда не помирится с гибелью невинного, что она не отдаст дела правосудия высочайше одобренным шайкам, привыкшим работать ножом и воровскою отмычкою.

Меня — скажу откровенно — более всего смущал вопрос о том, чтобы евреи не наделали глупостей. Главнейшей глупостью я считал, как и за 11 лет до того на таком же процессе виленского фельдшера Блондеса, попытку заняться на суде теоретической разработкой вопроса о том, — рекомендует-ли еврейская религия употребление христианской крови.

Прежде всего, я считал, что самая постановка такого вопроса оскорбительна. Какое мне дело до того, что поду-

мает или скажет об еврейской религии тот или иной случайный состав присяжных заседателей?

— Честные люди не должны клясться в своей чистоте, хотя бы даже им угрожала гибель: есть предельная черта, за которую нельзя переступить, сохраняя хоть жалкую тень человеческого достоинства.

Эту мысль я выразил еще за 11 лет до процесса Бейлиса, на деле Блондеса. Те, которым попала в руки напечатанная в Берлине покойным Паулем Натаном брошюра на русском языке, посвященная судебным прениям по тому делу, знают, что я считал недопустимым защищать самую религию.

Вот выдержка из моей речи, которую я цитирую по той брошюре:

«Мой благородный товарищ (прис. пов. Миронов) на-« деется доказать на основании доводов науки несостоя-« тельность такого обвинения.

« Желаю успеха. — Однако, не думаю, чтобы доводы « науки могли в течение 2-3 часов победить страсти. Зна-« ние можно противопоставить только знанию. Но, не на « знание, а на распространенность веры в еврейское суе-« верие ссылается все время обвинение. Оно верит, — но « веры своей не аргументирут. Однако, верить можно толь-« ко в то, что непостижимо, непознаваемо: в отвлеченное « начало добра, в справедливость.

«Там же, где возможно знание, точное знание, не дол-« жно быть места вере. Когда христианин говорит мне, что « верит в канибальство евреев, я отвечаю ему: — эта вера « господствует несколько столетий, но что сделано вами для « проверки, для обоснования ее?

« Миллиарды затрачены за это время на университеты « и богословские семинарии, тысячи людей посвящали свои « силы изучению истории религий, — и что же? Нашли-ли « они в еврейской письменности хоть малейшее указание, « подтверждающее предположение о существовании среди « евреев ритуального убийства?

« Сотни ученых экспедиций отправлялись и отправля-« ются ежегодно из разных стран во все концы мира. По « случайным обломкам, по уцелевшим обрывкам воссозда-« ли они историю обитателей земли...

« О, как много мы знаем!.. Мы знаем — как люди жили « за тысячи лет до нас, как они молились, любили, судили и « умирали. Но знаете-ли вы, господа, тех, кто живут с вами,

«среди вас, — с кем вы встречаетесь изо-дня в день?»

Так я думал всегда. — Действительно, разве мыслимо на протяжении часов, посвящаемых судебной экспертизе и речам, развернуть аргументацию в защиту религии? Если на протяжении многих десятков лет встречаются произведения господ профессоров, подкрепляющих своим научным авторитетом эту злую сказку, — то что же можно сделать в зале судебного заседания?

Ясное дело, что величайшая опасность кроется в самой постановке на суд вопроса о канибальском, будто бы, ритуале еврейской религии. Невежество всегда питает недоверие к чужому вероучению, — в особенности, если это вероучение принадлежит народу, лишенному всех прав состояния, отданному давным давно на моральный поток и разграбление. Если эксперт приведет научные аргументы в подтверждение того, что еврейской религии чуждо такое изуверское учение, большинство присяжных, особенно если они принадлежат к среде еле грамотных крестьян, такому эксперту не поверят: жидовская вера, де, хитрая, — она христиан ненавидит, но этого никогда не покажет; если кто эту веру защищает, значит, он или куплен жидовскими деньгами, или же не знает еврейских книг.

Значит, для обвинения, особливо недобросовестного, — отход от подсудимого к болтовне об его религии будет доказательством его виновности, а переход в дебри многовековой еврейской письменности послужит величайшим выигрышем: под письменностью можно легко похоронить невиновного. Ясно также, что задача защиты заключается в том, чтобы поднять внимание присяжных над поверхностью книжного мусора и сосредоточиться только на судимом лице. — Совесть русского человека не пойдет на судебное убийство — на осуждение явно невиновного. И не напрасно Шмаков и другие поверенные гражданских истцов так много занимались на суде вопросом об еврейском вероучении и так мало говорили о Бейлисе. Человека невинного присяжные пожалеют, а «жидовскую» веру чего жалеть. От нее не убудет, если похлестать ее по щекам. Таково воззрение малообразованных людей.

Когда я ознакомился со списком присяжных заседателей, состоявших сплошь из деревенских крестьян, я сказал себе: ни слова о ритуальных убийствах; это будет не только

недостойно твоего самоуважения, но поведет к неминуемой гибели Бейлиса. Его задушат фолиантами книг, непонятных присяжным, затопчут разговорами о Талмуде, Зогаре, раввинской письменности и т. п. Если талантливые, сведущие писатели не сумели на протяжении многих и многих лет убить злостную легенду об употреблении евреями христианской крови, то неужели допустимо обращать в судей над наукою темных обывателей?

На суде нужно только одно: доказать, что тот, которому приписывается убийство из ритуальных побуждений, убийства не совершил. Нельзя допустить хотя бы один судебный приговор о признании еврея виновным в ритуальном убийстве. Только это важно. Думать иначе — значит, не понимать сущности и значения судебной работы.

Я счел себя обязанным сказать присяжным заседателям, хотя за ними обычно ухаживают: «Погубить Бейлиса — вы « можете, и это в вашей власти. Но опозорить еврейскую « религию не в ваших силах; простите, не сочтите дерзо- « стью, — какое может иметь значение, если вы, совершен- « но несведущие в еврейской письменности и в истории ев- « рейской религии, скажете, что она не гнушается употреб- « ления человеческой крови? Прибавится лишь еще одно « ни для кого не важное, необоснованное « утверждение, исходящее притом от совершенно несведу- « щих в этих вопросах людей. Еврейская религия», — сказал я, — «старая наковальня; об нее разбилось много тяже- « лых молотов врагов. Здесь, на суде, обратили Iегову в «лишенного права жительства киевского еврея, на которого « идут с облавой». Я лишь дозволил себе, в заключительных словах своей речи, сказать: «Возможно, Бейлис, что вы не- « винно погибнете, — что же делать! Едва минуло 200 лет, « как ваши предки по таким же обвинениям гибли на кост- « рах. Безропотно, с молитвою на устах шли они на непра- « вую казнь. Чем вы лучше их? — Так же должны пойти и « вы. Страшна ваша гибель, но еще страшнее самая воз- « можность появления таких обвинений здесь, — под сенью « разума, совести и закона».

Я сказал Зарудному: «Раз вызваны эксперты по вопросу об еврейской религии, — пусть они и возятся со всем этим вздором; мы, с своей стороны, вызвали русских ученых с мировыми именами, как академик Коковцев, проф. Троицкий и московский еврейский общественный раввин Мазе.

— Нет сомнения, что они вскроют на суде невежество и недобросовестность ксендза Пранайтиса и нащеплют из него лучинок. Смешно же нам путаться в работу корифеев, — зажигать керосиновую коптилку для того, чтобы помочь светить яркому солнцу науки. Конечно, для церемонии, чтобы не вызвать нареканий со стороны еврейских «общественных деятелей», надо кому-нибудь из нас делать вид, что и мы занимаемся этой экспертизою. Но как и в деле Блондеса, так и теперь, я не желаю заниматься чепухой и отдавать ей хотя бы минуту внимания; нам важно спасти невинного Бейлиса, — его оправданием мы, вместе с тем, послужим и борьбе с жестокой легендой; важно доказать, что ни в одном процессе, если только по своим приемам он не носил средневекового характера, г.г. жидоеды не могли вырвать у суда обвинительного приговора. Если моей позиции не поймут те или иные общественники, меня это мало трогает: еврейские народные массы поймут и почувствуют, что я действую правильно. А только они меня интересуют».

II.

В ноябре 1911 г. я получил из Киева следующую телеграмму: «Собрание всех киевских еврейских организаций просит вас принять на себя защиту Бейлиса. Не откажите приехать возможно скорее».

Через несколько дней я приехал в Киев, повидался с некоторыми общественными деятелями и с прис. пов. А. Д. Марголиным, который, следя внимательно за делом, собирал сведения о ходе предварительного следствия через пр. пов. Д. Н. Григоровича-Барского. Последний, как бывший товарищ прокурора Киевского Окружного Суда, сохранил добрые связи в судебном мире и получал некоторые сообщения по делу от производившего следствие судебного следователя по особо важным делам В. И. Фененко.

Сведения, сообщенные мне А. Д. Марголиным, несмотря на свою отрывочность, давали полное представление о намерениях и планах министерства юстиции. Никто в министерстве не верил в виновность Бейлиса, но было решено отдать его на растерзание Союзам Русского Народа, Михаила Архангела и Двуглавого Орла. Между тем, беспристрастно веденное Фененко следствие вскоре установило,

что убийцы Андрюши Ющинского принадлежат к воровской шайке, заседавшей в квартире пристаносодержательницы Веры Чеберяк.

Наиболее важным показался мне следующий факт: когда главари шайки Рудзинский, Сингаевский и Латышев допрашивались в камере В. И. Фененко и веденный им искусно допрос поставил допрашиваемых в тяжелое положение, один из заподозренных членов шайки, а именно Латышев, выбросился из окна камеры судебного следователя и до-смерти расшибся о камни. Остальные же члены шайки прибегли к способу защиты, диктуемому обычно лишь состоянием крайней необходимости. Все они согласно показали, что как раз в тот день, когда был убит Андрюша Ющинский, они совершили кражу в большом оптическом магазине. Таким образом стало ясно, что они решили купить свою мнимую непричастность к делу об убийстве Ющинского ценой самооговора в другом преступлении. Такой способ защиты со стороны опытных воров укрепил судебного следователя в убеждении, что перед ним убийцы Ющинского.

Однако, следователь не решился привлечь их в качестве обвиняемых, так как натолкнулся на упорное сопротивление прокурора судебной палаты — Чаплинского. Это, конечно, уменьшает вину следователя, но не изменяет его ответственности перед своей совестью. Никакой Прокурор Палаты, ни даже Генерал-Прокурор, — т. е. Министр Юстиции, — не может воспретить или, еще менее, помешать следователю привлечь того, в виновности которого он убежден. Но будем снисходительны: в царское время даже такие следователи были редкостью. К слову сказать, Чаплинский в судебных сферах вызывал к себе нескрываемое ироническое отношение — и не без основания: его карьера была сделана сначала в прихожих министерства юстиции, а затем, когда он проник в салон министра юстиции Щегловитова, то быстро стал преуспевать, как великолепный рассказчик анекдотов из еврейского быта. Приятный, угодливый, не только способный, но способный решительно н а в с е, чем не Прокурор Палаты?

Чаплинский разгадал волю начальства. Впрочем, это было не трудно, так как министр юстиции Щегловитов послал в Киев, для наведения порядка, вице-директора одного из департаментов министерства юстиции, изящного и внешне весьма корректного, но на редкость бессовестного, Лядова. Тот «посоветовал» Чаплинскому привлечь «Менделя» немедленно.

Так состоялось привлечение заведомо невинного человека, брошенного в тюрьму, — одинокого, беспомощного, лишенного на следствии всякой защиты. Ночью, в бедную конуру этого труженика-рабочего, начинавшего свой тяжелый день в 4 часа утра и кончавшего работу поздно вечером, ворвалась шайка охранников, бросила его в тюрьму, где он просидел почти т р и г о д а до оправдания его присяжными заседателями. Мало кто знает, что, вместе с «Менделем», забрали и его д е в я т и л е т н е г о сына Пинхуса, которого продержали три дня в сыром подвале охранки. За что мучили ребенка? Пусть это забудет, кто хочет, — но я этого никогда не забуду.

В вечернем заседании общественных деятелей я застал собрание всех именитых еврейских граждан города Киева: народ, вероятно, почтенный, но для меня безразличный. То, к чему они были годны в судебном деле, — денежные средства, — для меня не составляло приманки. С первых же шагов своей адвокатской деятельности, чтобы сохранить полную независимость, я поставил себе за правило не брать в общественных, политических и литературных делах не только гонорара, но даже покрытия расходов.

Собрание быстро окончилось, так как я считал совершенно излишним знакомить членов его с моим планом защиты и ограничился лишь указанием тех лиц, которых я желал бы видеть на суде в качестве товарищей по защите.

После этого мне пришлось еще несколько раз побывать в Киеве, чтобы на месте узнать те или иные подробности по ходу следствия. Каждое посещение оставляло тяжелое впечатление. — Было ясно, что Бейлис обречен на муки, так как министр юстиции Щегловитов связал себя, во время посещения государем Киева, докладом о том, что убийство Андрюши Ющинского совершено с ритуальной целью и найден исполнитель этого убийства — еврей Мендель Бейлис.

В одну из этих поездок я узнал, что киевский журналист Бразуль-Брушковский ведет частное расследование по этому делу и что вдохновителем и руководителем его является местный коллега — даровитый адвокат, горячо преданный делу Бейлиса. В виду моей близости с этим коллегою, я высказал ему с полной откровенностью, что добра от этого расследования не жду. Ощутительной пользы оно дать не

может, так как нельзя серьезно думать, что Вера Чеберяк и члены ее шайки проникнутся благородством и, дабы не порочить незаслуженно еврейской религии и не допустить гибели невинного человека, сознаются в совершенном ими убийстве и пойдут на каторгу... Если же нельзя расчитывать на такую романтику, — то зачем подвергать наше чистое дело опасности: не имея никакого материала для успешного проведения своей кампании лжи и клеветы, обвинители обрадуются возможности заявить: что же тут доверять свидетелям защиты, когда они заранее обработаны.

К сожалению, эти указания не были приняты к исполнению. Увлеченный работой коллега уехал с Верой Чеберяк в Харьков, дабы там добиться от нее правды. В результате он добился того, что на суде Вера Чеберяк рассказала об этой поездке, о деле частного розыска, украсив все ложью. А преданный делу коллега, повинный лишь в том, что он не соблюл осторожности, был исключен из адвокатуры. Только после февральской революции он был восстановлен в своих правах.

III.

Войдя 25 сентября 1913 г. в зал Киевского Окружного Суда, я увидал державшуюся особняком кучку лиц. Там были: лейб-хирург проф. Павлов, проф. Бехтерев, проф. Карпинский; знаток еврейского языка и письменности член Академии Наук проф. Коковцев, проф. петербургской Духовной Академии И. Г. Троицкий, проф. Тихомиров и московский общественный раввин Мазе.

Что заставило их всех прервать свои научные занятия и преподавательскую деятельность, оставить свой дом, поселиться на месяц в киевских гостиницах?

Корысть? — Кроме проф. Бехтерева, предложившего внести ему, вместо гонорара, пожертвование в пользу его любимого детища — С.-Петербургского Психо-Неврологического Института, все эксперты отказались не только от частного вознаграждения, но отвергли и предложение покрыть их путевые и гостиничные расходы.

Не увлекло ли их славолюбие? — Хороша слава: наймиты еврейского кагала. Что же толкнуло их на приятие обиды, поношения, на муку? Зачем пришли они в суд?

Как на это ответить? — Зачем весной солнце плавит лед, заливает поля, поит и растит злаки и цветы? — На то

оно — солнце. На то дана им, этим русским людям, большая душа, которая болеет чужою болью, как своей, дана совесть, большая совесть, которой есть дело до всех дел мира, до всякой неправды.

Поодаль от них я увидал толпу присяжных заседателей, будущих вершителей судьбы Бейлиса, почти сплошь крестьяне. Среди крестьян мелькали несколько пиджачников — городских жителей: особенно бросался в глаза юрко перебегавший от одной кучки к другой мелкий чиновник в пенснэ на лихо закинутом за ухо шнурке. Этого лица я никогда не забуду. Фамилия его Мельников, — он попал в старшины присяжных заседателей. Тридцать три дня, с утра до поздней ночи, я видел эту искательную физиономию, — почтительно, с собачьей угодливостью взиравшую на прокурора, судей и гражданских истцов и презрительно отворачивавшуюся от защитников.

Заседания открывались в 9, не позже 9½ час утра и шли с небольшими перерывами до поздней ночи, иногда до часа.

Началось слушание дела.

Вышли коронные судьи, с г. Болдыревым во главе. Болдырев был известен своей угодливостью, приспособляемостью и умением творить пакости с благодушным видом и без резких скандалов. Министр счел его — и совершенно основательно — подходящим для председательствования по делу Бейлиса. Для этого перевели его из Умани в Киев. Ему была обещана, по окончании процесса, должность Старшего Председателя Киевской судебной палаты: неслыханный приз за подлость. Рядом с ним сидели еще трое судей, не решившихся за все время процесса проронить слово и рабски во всем с председателем соглашавшихся. Кафедру прокуратуры занимал худощавый, бледнолицый, изнервленный немец Виппер: типичный представитель того гитлеризма, который впоследствии одержал верх в Германии. Бездарный, но наглый, презирающий тот народ, который дал ему блестящее положение, он усиленно подчеркнул в своей речи, что он не русский и не понимает русской мягкости.

На скамье гражданских истцов восседал московский присяжный поверенный Шмаков, о котором, вопреки общему мнению, замечу, что он был по природе человек не злой, но совершенно помешавшийся на слепом антисемитизме. Затем, рядом с ним, Замысловский, — человек крупных спо-

собностей, но исключительной душевной низости. Его деятельность в Государственной Думе достаточно всем известна, — значит, не стоит на нем останавливаться.

Скамью защиты занимали, кроме меня, Н. П. Карабчевский, В. А. Маклаков и Д. Н. Григорович-Барский.

Кругом: за местами судей, во всем зале, на хорах были только враги, за исключением В. Г. Короленко, который глядел на меня с хоров ласковыми глазами, да еще за из'ятием спокойного, величавого В. Д. Набокова. В число друзей дела надо включить еще 5-6 газетных сотрудников.

Дело шло, как я уже отметил, тридцать три дня.

Что было пережито за эти страшные дни и особенно за страшные ночи, когда, ворочаясь в постели, я тщетно гонялся за сном и не мог освободиться от диких впечатлений судебного заседания? Рассказывать не стоит: читателям все равно, а мне все еще больно.

Скажу только, что, возвращаясь из суда ночью домой, я скреб в ванной комнате лицо. — Мне казалось, что оно заплевано, но смыть эти плевки не удастся. Были минуты, когда я малодушно завидовал мертвецам. Я старался в темноте угадать, — спит ли хоть в противоположном конце комнаты моя жена, не хотевшая оставить меня одного на этом процессе.

Из этих страшных судебных заседаний я остановлюсь лишь на трех моментах: на допросе жандармского подполковника Иванова, на допросе действительных убийц Андрюши Ющинского — Рудзинского и Сингаевского, доставленных, по моему требованию, из сибирской каторги; остановлюсь еще на экспертизе Коковцева и Троицкого.

Подполковник Иванов производил жандармское расследование, которое убедило его, как и его начальника Шределя, что убийство Ющинского совершено воровской шайкой, а именно Верой Чеберяк, Латышевым, Рудзинским и Сингаевским. Иванов своего мнения о добытых результатах не скрывал. В беседе с членом Государственного Совета проф. Пихно, издававшим в Киеве правую антисемитскую, но опрятную газету «Киевлянин», Иванов поделился своими сведениями. Это побудило защиту вызвать его в качестве свидетеля. Однако, на суде, к крайнему моему удивлению и возмущению, подполковник Иванов явился самым бесцеремонным обвинителем Бейлиса.

Торжествующий Замысловский приподнялся и обратился с ходатайством к председателю Болдыреву об удостоверении — по чьей просьбе вызван свидетель Иванов? Болдырев, поглаживая бакенбарды, обратился с невинным видом к секретарю: «Что-то не помню. Посмотрите, по чьему прошению вызван г. подполковник Иванов». Секретарь оказался прямодушнее своего начальства и, не заглядывая в дело, ответил: «По ходатайству пр. пов. Грузенберга». Тогда Замысловский обратился к присяжным заседателям: «Прошу запомнить, что давший нам такое ценное показание свидетель подполк. Иванов вызван по ходатайству защиты, а не нашему». Я потерял от этой наглости самообладание и ответил: «Нет свидетелей защиты, нет свидетелей обвинения. На суде надо различать говорящих правду от говорящих ложь, честных от бесчестных свидетелей».

Замысловский с напускным ужасом попросил занести мои слова в протокол. Суд об'явил перерыв. Вернувшись после продолжительного совещания в зал судебного заседания, Болдырев об'явил следующую резолюцию: «Заявление пр. пов. Грузенберга о свидетеле Иванове занести в протокол, выписку которого сообщить прокурору Окружного Суда для соответствующего распоряжения».

Нельзя забыть допрос Рудзинского и Сингаевского. Когда я стал допрашивать Рудзинского, почему он, его товарищи Латышев и Сингаевский поспешили уехать на другой день после убийства Ющинского в Москву, — он мне, запинаясь, ответил: «Мы совершили накануне кражу в оптическом магазине на Крещатике и поехали в Москву для продажи биноклей».

Я спросил: «Зачем же вы поехали в т р о е м? Зачем, не имея в те дни денег, вы потратились на три билета?»

Рудзинский окончательно растерялся и замолчал. Затем, после раздумья, ответил: «Хотелось посмотреть Москву, где мы никогда не были». Ответ был явно нелепый. — «Удивительно, что желание посмотреть Москву появилось у вас на другой день после убийства Андрюши».

Тогда председатель суда Болдырев пришел Рудзинскому на помощь: «Может быть, вы не доверяли друг другу при продаже биноклей?» — спросил он, перебивая меня.

Увлеченный напряженным допросом, я лишь отмахнулся и сказал председателю: «Не мешайте». Болдырев обиженно проговорил: «Г. защитник, прошу вас не забывать-

ся». Я, еще не остыв, возразил: «А я прошу дать возможность вести допрос, не дергая меня».

— Скажите, свидетель, ведь украденных биноклей было не более дюжины-другой; краденое продается обычно скупщику за грош; не могло же вам не быть ясным, что вы трое делаете эту поездку себе в разор?

Кроме этих двух моментов остановлюсь еще на экспертизе.

Петербургский проф. по кафедре судебной медицины Косоротов, на вопрос Замысловского: «Скажите, г. профессор, вы и другие эксперты, вызванные нами, гражданскими истцами со стороны матери умученного Андрюши, — получили какое-нибудь вознаграждение за вашу далекую поездку, возмещение расходов?»

Косоротов, презрительно пожав плечами:

— Ни копейки!

— Кстати, — продолжал свой допрос Замысловский, — нет ли у вас сведений: а эксперты со стороны защиты такие же бескорыстные, как вы?

Косоротов, кинув презрительный взгляд на проф. Павлова, Бехтерева, Коковцева и Троицкого, величаво заявил:

— Не знаю.

А между тем, проф. Косоротов получил от Департамента Полиции 4000 рублей, в чем выдал расписки директору Департамента Белецкому. После февральской революции оне были найдены в секретном сейфе Департамента, причем обнаружилась ха́рактерная черта. — Не доверяя Косоротову, который, быть может, постеснится на суде перед другими экспертами и под давлением их доводов изменит данное им на предварительном следствии заключение, Департамент Полиции обещанные 4000 руб. выдал в два приема: две тысячи при поездке, а остальные две тысячи по возвращении из Киева. Белецкий хорошо знал свою продажную публику и был весьма осмотрителен. Этот Директор Департамента, одним из отделений которого являлось при Щегловитове министерство юстиции, усиленно помогал облыжному обвинению, отыскал азиатского эксперта Пранайтиса и всякие вздорные жидоедские брошюры.

IV.

Теперь — об экспертах по вопросам еврейской религии.

Из экспертов по вопросу о ритуальном убийстве, всех

глубже и полнее был, конечно, академик Коковцев. Его ответы прокурору, гражданским истцам, председателю суда, были уничтожающе-презрительны: он скупо а́ргументировал, он больше декретировал, — стоит, мол, метать бисер перед.. вам нужна не истина, а осуждение; мне же нет дела ни до вас, ни до Бейлиса, — мне дороже всего научное знание.

От всей фигуры, от ушедшего внутрь себя взора, от пергаментно-желтого лица, от звука бесстрастного голоса знаменитого ученого веяло какой-то неотмирностью.

Между тем, профессор Троицкий поразил всех не только тонким зна́нием древне́-еврейского языка и его богатой письменности, но и каким-то особливым благородством, нетухнущим огорчением, что как такое, явно неосновательное, обвинение могло попасть в суд его Родины, — в русский суд. В голосе его звучали скорбь за попираемую невежественным Пранайтисом науку и страх — как бы не погиб невинный человек. Его речь, шедшая от сердца к сердцу, его совестливость, в связи с необыкновенной скромностью и непритязательностью, не замечавшей наглых в отношении его выпадов обвинителей, за́воевали ему симпатии подавляющего большинства слушателей.

Этот маленький, на коротких ногах, человек, с высоким лбом, умными глазами, доверчиво и серьезно всматривающимися в собеседника, с его спокойными, исполненными достоинства ответами на всякий вопрос, даже не имеющий отношения к делу, даже поставленный в язвительной форме, совершенно обезкураживал противников: в такие минуты самое большое, что чувствова́лось в его голосе, — это легкое огорчение, словно он ласково выговаривал: «Несмышленыш ты, мой родненький, погоди, ужо я тебе растолкую».

Когда один из обвинителей обратился к Троицкому с дерзкой насмешкой: не может ли он об'яснить, почему евреи всегда поддерживают тех, кто обвиняется в ритуальных убийствах, — он не ответил, как это делали академик Коковцев и проф. Тихомиров, презрительным движением плеч и холодным: «Это меня не касается».

Нет, Троицкий дружелюбно и вразумляюще об'яснил: «Это вполне естественно. Когда еврея обвиняют в простом убийстве, евреи убийцу вовсе не поддерживают. Но всякое обвинение в ритуа́льном убийстве есть обвинение всего ев-

рейства. А евреи прекрасно знают, что ритуальных убийств у них не существует. Поэтому, когда обвиняют еврея в ритуальном убийстве, то все евреи считают, что обвиняют, вопервых, невинного, а, во-вторых, обвиняют все еврейство. Как же евреям не заступиться?»

Он весь был исполнен глубокого доброжелательства, не дозволявшего ему проявить свою силу во всей ее полноте. На все дерзости и колкости обвинителей он мог бы ответить уничтожающими словами: — Какой же я эксперт защиты? Не обвинительная-ли власть два месяца допрашивала меня в Петербурге, как авторитетного эксперта, и отвернулась от меня лишь тогда, когда я решительно отказался поддержать невежественные измышления Пранайтиса?

Он мог уничтожить обвинителей, но не сделал этого, ибо всегда думал не об уничтожении противника, а о возвеличении истины. И только, вернувшись в Петербург, где жил склонявший его два месяца к обвинительной экспертизе судебный следователь Машкевич, и будучи уверен, что его ответ не может дойти до киевских присяжных заседателей, а, стало быть, и повлиять на их приговор, он в своем интервью для печати сообщил, между прочим, следующий, беспримерный в судебных летописях факт: «Те двусмысленные намеки и некрасивые выпады, которые появились в некоторых правых газетах против меня, — сказал в своем интервью проф. Троицкий, — ничуть не затрагивают моей чести. Авторы статей несомненно знают, что я не «подкупленный евреями», и что моя экспертиза является свободным мнением беспристрастного специалиста. Ведь те, которые делают по моему адресу грязные намеки, прекрасно знают, что еще в нынешнем году судебный следователь по особо важным делам Машкевич обращался ко мне с просьбой исследовать вместе с Пранайтисом вопрос об употреблении евреями христианской крови. Наша работа с Пранайтисом и Машкевичем продолжалась свыше двух месяцев, причем работа эта происходила под строжайшим секретом. Я коренным образом тогда разошелся по этому вопросу с ксендзом Пранайтисом, что прекрасно известно г. Машкевичу. То, что я говорил по этому вопросу судебному следователю Машкевичу, я лишь повторил потом на суде».

Иметь на суде в своем распоряжении такой удар и избавить от него противника — это-ли не великодушие?

Короленко писал, что в кругу молодых судейских он

слышал по поводу экспертизы Троицкого такой отзыв: «Наконец-то заговорила настоящая русская наука».

Когда экспертиза окончилась, суд, недовольный сильным впечатлением, произведенным экспертами защиты, распорядился выдать им ничтожное вознаграждение, которого не могло хватить даже на покрытие и половины их расходов. Во время одного из перерывов председатель Болдырев цинично говорил: «Мало? — Не езжай по жидовским делам из Питера; впрочем, кагал хорошо заплатил».

А бедный Троицкий и без того жаловался своим коллегам, что гостиничная дороговизна (в Киеве тогда происходила сельско-хозяйственная выставка) сожрала все, что он с собой взял.

Эксперты уехали до судебных прений, как только их освободили. На другое, после оправдания, утро уехал и я домой.

Сильный нервный под'ем, которым я жил не только во время почти пятинедельного судебного разбирательства, но и в предшествовавшие ему два месяца, сделал свое дело: я на третий день по возвращении своем в Петербург убедился, что не могу ни вести дела, ни принимать клиентов. А тут еще надвигались всевозможные чествования. Я кинулся в градоначальство, затем в течение часа выправил все визы и, вернувшись домой, сообщил жене, ничего не знавшей о неожиданном для меня самого решении, что едем с ней через четыре часа вечерним поездом заграницу. Стал я раздавать поручения моим помощникам, укладываться — и вдруг почувствовал, что мне непременно надо перед от'ездом повидать тех двух, которые стали мне во время суда близки и дороги: моего старого друга А. С. Зарудного и проф. И. Г. Троицкого...

Заехал к Зарудному, застал его в постели, в полной прострации.

— Как тебя хватает! — кинул он мне. — Ты какой-то двужильный.

— Вот и ошибся: тоже не хватает. Бог с ними, с клиентами, делами и гонорарами. Через несколько часов уезжаю. Кстати, дай адрес Троицкого, — у меня старое издание «Весь Петербург».

Зарудный — не только выдающийся защитник, но и пунктуальный канцелярист — быстро отыскал в своей записной книжке адрес.

Жил И. Г. Троцкий около Александро-Невской Лавры, в одном из принадлежавших ей домов. Я взобрался по склизкой темной лестнице, позвонил. Мне открыла дверь с кухонной жестяной лампочкой в руках, одетая в поношенную ситцевую кофту, жена Троицкого.

— Пойдемте в зальце. Сейчас выйдет Иван Гаврилович. Мы только недавно отобедали.

Вошли в бедную комнату, где стояло несколько ветхих стульев с прорванными сидениями. Троицкая поставила жестяную лампочку на стол и стала расспрашивать меня о здоровьи. Я не успел ответить, как вошел в серой парусиновой блузе на выпуск, стянутой ремешком, И. Г. Троицкий.

Я встал.

— Я пришел, Иван Гаврилович, чтобы крепко пожать руку, поблагодарить за все, — а главное, за то, что вы такой.

Мы обнялись. Я дошел до дверей и, наконец, решился:

— Иван Гаврилович, дозвольте, хоть теперь, быть вам чем-нибудь полезным. Ведь вас в Киеве обобрали и гостиница, и суд.

— У меня все есть. Спасибо за теплое чувство, за ласковое слово.

А вот теперь в глазах маячат слова газетной телеграммы об его кончине. Как говорил толстовский солдатик Каратаев? — Кажется, так: «Положи, Боже, камушком, подними калачиком».

Нет, — уже более Троицкому не подняться.

Я просмотрел свою памятку. Пусть хороший Иван Гавриилович простит, если мне не удалось отразить, как следует, то благоговение, которое я, вместе с тысячами других, питаю к его величаво-простому образу.

V.

Пришла революция 1917 года.

В один из первых дней ко мне позвонил по телефону коллега, назначенный для охраны дел Департамента Полиции.

— Хотите познакомиться с секретным производством по делу Бейлиса? — спросил он меня.

Конечно, я принял это предложение с благодарностью. К вечеру мне было доставлено 5 томов. Я жадно ухватился за них и провел за чтением всю ночь. Я узнал из этого производства многое, что оставалось мне неясным на суде.

В деревни, где проживали попавшие в сессионный список присяжные заседатели, были посланы агенты полиции, дабы, как значилось в официальной бумаге, они... воспрепятствовали евреям влиять заранее на присяжных. Не трудно догадаться — как эти агенты подготовляли присяжных под предлогом защиты от мнимого еврейского воздействия.

Увидал я в этих же делах — как министерство юстиции металось по всем концам России, чтобы среди русских ученых и духовных лиц подыскать экспертов по еврейскому ритуалу. Не нашлось ни одного русского священника с научным авторитетом, который бы согласился удовлетворить желание правительства. Министерство могло сыскать нужного для его целей эксперта только в лице ксендза Пранайтиса, смещенного за проделки с должности в Петербурге и переведенного в Азию, в Ташкент. Вся прокуратура разных российских судов была поставлена на ноги, чтобы достать нужные клеветнические брошюры об еврейских ритуальных убийствах. Особенно усердным и исполнительным по розыску таких брошюр оказался виленский товарищ прокурора Карбовский, за что и был немедленно переведен в Киев и назначен для надзора за производимым по делу Бейлиса следствием.

В этих же секретных бумагах директора департамента полиции Белецкого я нашел переписку о назначении полицейского надзора за теми лицами, которые присылали нам, защитникам, во время процесса сочувственные телеграммы и письма. Повидимому, неверие в приписываемый евреям изуверский ритуал квалифицировалось, как политическая неблагонадежность.

Там же я увидал переписку губернатора Гирса, который, не веря в виновность Бейлиса и уверенный в его оправдании, рекомендовал отложить слушание дела на более отдаленный срок, так как оправдание Бейлиса может отозваться на успешном для правительства ходе выборов в Государственную Думу.

Увидал я там же адресованные мне в Киев письма с ценными указаниями, относящимися к делу. Увидал также копии моих писем, которые я писал поздней ночью, по возвращении из суда, своей дочери и сыну в Петербург.

Увидал указания на то, как доставленные из сибирской каторги убийцы Сингаевский и Рудзинский были задержаны на предпоследней к Киеву железнодорожной станции (Фастове), пока Прокурор Палаты Чаплинский, Виппер, Замыс-

ловский и председатель суда Болдырев обсуждали вопрос, — следует ли допустить доставление этих свидетелей в Киев в судебное заседание.

Спрятать человека в тюрьму, держать весь еврейский народ под страхом надвигавшейся на него беды, а в это время прятать действительных убийц от присяжных заседателей — найдется ли после этого даже среди монархистов хоть один честный человек, который не признал бы в этом одном факте низость, до какой докатился самодержавный режим?

Если допустить, что Чаплинский, Виппер, Замысловский и Болдырев считали Бейлиса виновным, то отчего они прятали от присяжных заседателей тех, кто действительно убил Андрюшу Ющинского? Боялись: а вдруг на суде прорвется правда. А вдруг какой-нибудь из этих каторжан, под напором допроса защитников, проговорится. Мне стало понятно, почему председатель Болдырев оборвал меня и поспешил на помощь Рудзинскому, когда тот, растерявшись, не мог об'яснить причину, по которой он и два его соучастника поехали втроем в Москву продавать десяток-другой биноклей, когда такая продажа не могла покрыть даже расходы по поездке трех лиц.

Затем, напоследок, я прочел о том — как председатель суда, под видом сторожа для услуг присяжным заседателям, ввел в их совещательную комнату переодетого жандарма.

При чтении этих бумаг я припомнил, как Болдырев в один из перерывов подошел ко мне и тоном шутливого упрека заметил: «Из-за вас мне приходится тратить из небольших средств Киевского Окружного Суда деньги на наем дополнительного сторожа при комнате присяжных: дело так затянулось, что наш сторож умаялся и сбился с ног».

Я ему ответил в тон: «Ничего, вы покроете свой дополнительный расход взысканием проторей и убытков с осужденного Бейлиса».

Я прочел в этом секретном досье донесения командированных Департаментом Полиции двух чиновников: Любимова и б. прокурора Дьяченко. Последний изо дня в день посылал телеграммы Департаменту Полиции с отчетом о ходе дела. В каждой из этих телеграмм неизменно отмечалось, что против Бейлиса нет улик. В одной из них выражалась надежда, что «хотя улик нет, но *темный* состав присяжных заседателей, руководясь ненавистью к евреям, —

осудит и без улик». В последнем своем донесении Дьяченко писал: «Пристрастное отношение председателя особенно резко сказалось в его резюме, которое носило явно обвинительный характер, несмотря на то, что *улики против Бейлиса, на мой взгляд бывшего судебного следователя и прокурора, были очень слабы или, лучше сказать, их совсем не было.* Когда, после ухода присяжных заседателей совещаться, Болдырев спросил меня, — писал Дьяченко, — как я нахожу его резюме, я ему откровенно сказал, *что я ожидал от него большего беспристрастия*».

А Любимов, после оправдания Бейлиса, в отчаянии писал Департаменту Полиции: «Произошла судебная Цусима!» (Для пояснения: Цусима, это место, где в Японскую войну был уничтожен русский флот).

Когда я окончил чтение присланных мне томов секретного производства Департамента Полиции, уже стоял тусклый утренний свет. Я подошел к окну, посмотрел на пустынную улицу, на расположенные против моей квартиры казармы лейб-гвардии Волынского полка, разукрашенные красными флагами, и сказал себе: «Благодарение судьбе за то, что восставший народ смел, как паутину, бесчестный царский строй».

Вшивую овчину в печь...

— Прав ли я? Не ослепила ли мой мозг, а вместе с ним и совесть личная обида?

Надо себя проверить.

Вот что писал, через несколько дней по отречении царя, излюбленный высшей бюрократией и придворными кругами публицист «Нового Времени» — М. Меньшиков:

«...Самодержавие, **измѣнявшее веками своему народу, изменило наконец самому себе».**

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О «СОЮЗЕ РУССКОГО НАРОДА».

Всякое явление, — как писал и чаще говаривал К. Маркс, — повторяется в истории дважды: один раз как трагедия, другой, — как комический фарс.

Иногда, однако, происходит обратное чередование: это испытал на себе Витте.

Родитель и основатель аристократического террористического общества, под названием «Священная Дружина», он не подозревал, что общество это сменится впоследствии «Союзом Русского Народа», который станет за ним охотиться — и, притом, с неослабным усердием.

В своих «Воспоминаниях», написанных не пером, а оглоблею (только по этому признаку можно узнать, что это его собственное произведение, а не нанятых перьев), Витте похваляется: это он, мол, создал «Священную Дружину».

Честолюбивый железнодорожный служащий, Витте возымел гениальную мысль — как бороться с революционным террором. Рецепт простой: создать аристократическое, даже придворное террористическое общество. — Убьет революционер кого-нибудь из государственных людей, послать великосветского террориста убить изъ-за угла революционера. Чего проще...

Этот первый «гениальный» государственный план свой он сообщил в записке на имя своего родственника по материнской линии, ген. Θаддеева. Тот передал эту записку министру Имп. Двора гр. Воронцову-Дашкову.

Через несколько дней она поступила на благовоззрение Его Императорского Величества Государя Александра III, славившегося своей высокой нравственностью и богобоязненностью.

Закипела работа. В ней приняли участие ген. Черевин и другие столпы придворного патриотизма. Высочайше одобренное тайное общество быстро с'организовалось под скромным названием **«Священная Дружина».**

Святители немедленно приступили к работе: вера без дел мертва. Были организованы отделения в провинции, — и Витте, в воздаяние заслуг, был назначен начальником южного района.

У «Священной Дружины» был свой устав, были придуманы особые мимические знаки, по которым содружинники могли бы узнавать друг друга. Деятельность общества началась командировкою в Париж б. уланского офицера Полянского *) для свершения убийства. Был указан и об'ект этого «священного» акта — проживавший в Париже революционер Гартман, автор неудавшегося покушения на жизнь Александра II (подкоп на Московско-Курской ж. дор. для взрыва императорского поезда).

Полянский что-то замешкался. Время шло, уходили деньги, а Гартман оставался жив-здоровехонек.

Совет «Священной Дружины» встревожился: отсутствие дисциплины, медлительность в исполнении служебного долга, — словом, непорядок. Командировали в Париж Витте. Встреча ревизора с ревизуемым произошла за завтраком на веранде Гранд-Отеля. Обменялись «священными знаками»: Полянский подсел к столу Витте.

— Я знаю, — сказал Полянский, — вы приехали убить меня в случае, если я не убью Гартмана; я не виноват — у меня все готово, но меня задерживает полученный из С.-Петербурга приказ не приводить убийства в исполнение, впредь до особого распоряжения.

Этот приказ был ему передан через сына б. росс. посланника в Греции Зограффо.

На следующий день, в 5 час. утра, Витте отправился с Полянским в Латинский квартал — и убедился, что у ворот дома, где жил Гартман, его караулили два апаша, которые должны были завязать с ним драку — и убить. Гартман вышел, апаши — за ним, а потом вернулись и гневно заявили, что им надоело охотиться впустую. Витте не пове-

*) Платного агента Департамента Полиции.

рил, чтобы центр мог так путать, — но, сойдясь за обедом с Полянским и Зограффо, убедился, что такой приказ, действительно, был дан. Мало того, Зограффо пояснил, что приказано дожидаться приезда в Париж генерал-адъютанта его величества Витгенштейна, которому поручена «ликвидация» этого дела.

Витте обиделся (с ним, де, недостаточно считаются), не стал дожидаться приезда Витгенштейна — и вернулся в Киев.

В этой затее, единственным результатом которой было выдвижение Витте, все характерно. — Характерно, что все охи и ахи по поводу пролития террористами крови имеют одну лишь мораль: когда нас убивают, террор возмутителен; когда мы убиваем, террор благодетелен.

Не менее характерно и то, что государь и его окружение, со своим мощным аппаратом власти и законного насилия, со всеми своими прокурорами, судьями, полицейскими и палачами, прибегают к тайному террору, убийству из-за угла, — да еще не своими, а наемными руками.

Кто же из тех, в ком сохранилась хоть капля совести, смеет упрекать за террор революционеров, — одиноких и слабосильных, — у которых не было никаких других средств борьбы с жестокой и неумолимой властью, отказывавшейся стать даже на путь конституционной монархии?

Революционеры шли на террористический акт, как на святую муку, как на обязательный подвиг. А у самодержавной идеи не оказалось ни одного мечтательного убийцы. Зато карьера Витте была с того дня вполне обеспечена: молодой человек не только способный, но способный решительно на все.

II.

Его детище, — «Священная Дружина» — воскресло в конце 1904 г. в образе «Союза Русского Народа». Ведь ново то, что хорошо забыто.

Известный представитель русской политической полиции в Париже Рачковский решил организовать партию из правых активных деятелей. Он копировал в этом отношении главнейшие черты «Священной Дружины» и партии социалистов-революционеров. Во главе этого союза

был поставлен Главный Совет, находившийся в С.-Петербурге. При нем была установлена особая террористическая организация, под названием «Боевая Дружина», возглавлявшаяся неким Юскевичем-Красковским. Он работал в сотрудничестве с «Сашкой» Половцевым, Александровым, Пименевым, Рюминым, Ларичкиным и др. Денежные средства получались из Департамента Полиции и Охранных Отделений. Жертвователями дополнительных сумм были богатая вдова петербургского купца Полубояринова и некоторые видные члены аристократии. Опускаю имена: быть может, некоторые из них находятся еще в пределах мстительной досягаемости.

Отделения Боевой Дружины были раскиданы по главнейшим городам. В Москве во главе ее стоял гр. Буксгевден, — чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Гершельмане. Буксгевден работал при деятельном сотрудничестве охранника Казанцева. Они спровоцировали малосознательного рабочего Федорова на убийство члена Государственной Думы Іоллоса. Надо, хотя бы мимоходом, отметить, что конец охранника Казанцева был печальный: убийца Іоллоса — рабочий Федоров, постигнув впоследствии истинные задачи «Союза Русского Народа», убил Казанцева, вовлекшего его в этот союз.

Такие же Боевые Дружины были организованы: в Курске — под начальством графа Доррера; в Одессе — под начальством графа Коновницына.

Перед самым роспуском I Государственной Думы, в заседании Главного Совета Союза Русского Народа, с участием начальников некоторых Боевых Дружин, — был составлен список из 33 лиц, подлежавших немедленному уничтожению. Характерно, что в этот список обреченных не попал ни один социалист, а только «кадеты» и евреи. Совет правильно сообразил, что с революционерами могут расправиться военные суды, а с кадетами... Того гляди, получат министерские портфели.

Назову имена некоторых обреченных: члены Гос. Думы Герценштейн, Іоллос, Винавер, Родичев, равно не бывшие тогда еще в Думе П. Н. Милюков и И. В. Гессен, а также я. Дружины были разбиты порайонно, причем исполнителям решенных убийств были розданы удостоверения о состоянии их при Охранных Отделениях. О выдаче таких удостоверений распорядился с.-петербургский градоначальник того

времени фон-дер-Лауниц, с целью облегчения им разведки и иных подготовительных действий.

Был еще скрывавшийся в провинции Боевой Отряд, начальником которого состоял именовавший себя полковником фельдшер Белинский.

Этот отряд также был вызван Главным Советом в С.-Петербург, но принять участие в убийстве Герценштейна не успел. Белинский удостоился высокой милости — быть принятым Государем в отдельной аудиенции. Впоследствии Белинский похвалялся перед своими дружинниками, что он доложил Государю о задачах Боевого Отряда, как защитника Престола и Отечества, и о способах действий для осуществления этой защиты. Об'ективно установлено, что Государь благодарил Белинского и милостиво принял от него подарки для Наследника, состоявшие из кавказского оружия, за которое, кстати сказать, Белинский забыл уплатить кавказским мастерам, работавшим исключительно на Конвой Его Величества.

Заняться изысканиями о Союзе Русского Народа меня заставила следующая причина.

Через несколько месяцев после убийства в Финляндии деп. Герценштейна я получил от содержавшегося в с.-петербургской Выборгской тюрьме бундиста-студента Гольдберга письмо с просьбой прислать к нему в тюрьму кого-либо из моих помощников. На состоявшемся свидании г. Гольдберг сообщил моему помощнику Георгию Федоровичу Веберу, что содержащийся в той же тюрьме за тайный пронос, мимо таможен, спирта некий Ларичкин рассказал ему, что убийство Герценштейна дело рук Союза Русского Народа и что он, Ларичкин, был одним из участников этого убийства. С Союзом он теперь разошелся, так как тот не оказывает ему ни малейшей помощи. Ларичкин назвал поименно убийц и дал подробные указания на то, как было организовано и выполнено убийство Герценштейна.

Г. Ф. Вебер, — мужественный и энергичный, — проник по этим указаниям в вертепы Союза Русского Народа, вступил в сношения с некоторыми из наиболее активных членов его и добыл весьма ценные данные. Я нашел, что добытого, хотя официально еще ничем не закрепленного, материала достаточно для возбуждения дела. Однако, я опасался обратиться к прокуратуре, так как знал следующие два факта:

Первый факт: прием Государем примкнувшей к Союзу Русского Народа группы петербургских извозчиков, с прис. пов. Булацелем во главе. Государь обласкал и отпустил эту делегацию милостивыми словами: «о б' е д и н я й т е с ь и с т а р а й т е с ь».

О чем, собственно, должны были стараться извозчики, я не понял, но мне было ясно, что политическая прокуратура всегда будет рада постараться.

Другой факт: прием Государем одесского градоначальника генерала Григорьева, не мало терпевшего неприятностей от местного Союза за свой закономерный и беспристрастный образ действий.

Григорьев не скрыл от министерства внутренних дел, что он воспользуется приемом для того, чтобы доложить Государю о вредной, дезорганизующей деятельности одесского отделения Союза Русского Народа. Впоследствии Григорьев рассказывал об охватившем его чувстве смущения, когда он увидел на груди государя... значек Союза Русского Народа. Нарочно надел, чтобы вразумить чудака.

При таких условиях итти с разоблачениями к жандармской прокуратуре было бы наивно. Я решил, что надо итти к министру юстиции, чтобы связать его ответственностью перед Государственною Думою: это было за два-три месяца до выборов во II Думу.

Министром юстиции был тогда И. Г. Щегловитов.

Я знаю, что это имя ненавистно, что с ним связано много горя и позора. Знаю также, что никто из российских министров юстиции не причинил такого поношения родному правосудию, как Щегловитов.

И все-же, я обязан сказать о нем то хорошее, что мне известно, — тем более, что я ему обязан своим знаком присяжного поверенного. Я не намерен расплачиваться за его услугу истиною, но я не вправе скрывать ее, если она в его пользу.

Щегловитова я узнал, когда он был еще товарищем прокурора С.-Петербургского Окружного Суда, а я — начинающим помощником прис. поверенного. Не терял его из виду все время, особенно последние годы, перед тем, как он стал министром.

Более близко узнал я Щегловитова в тот период его карьеры, когда он стал обер-прокурором уголовного касса-

ционного департамента Сената и председателем уголовного отделения С.-Петербургского юридического общества.

Я считаю его одним из лучших русских процессуалистов. При серьезной для практика теоретической подготовке, он был большим знатоком судебного дела. Все об'яснительные записки к работам Муравьевской комиссии по пересмотру судебных уставов написаны в части, касающейся уголовного судопроизводства и судоустройства, Щегловитовым. Работа образцовая. Несмотря на переобремененность служебными занятиями, он читал лекции по уголовному процессу в Училище Правоведения и не прекратил их, даже став министром. Он позволил себе лишь одну льготу: для экономии времени чтения эти происходили у него на дому.

В качестве обер-прокурора, он дал ряд прекрасных заключений: по крайней мере, одно из них, — по делу Семенова (о правах защиты), — не забудется в истории русского суда. Личные его качества также вызывали к нему уважение. Он был ровен со всеми, неискателен, делал карьеру вполне корректно. Сходился с людьми с большой оглядкой, но, сошедшись, был верен и не бросал их. Сблизился я с ним в Юридическом Обществе по своеобразному поводу.

Шел доклад проф. С. К. Гогеля о религиозных преступлениях по проекту нового уголовного уложения. Во время прений по этому докладу я указал, что некоторые постановления проекта нового Уложения излишне суровы и что даже в действовавшем тогда устарелом уложении о наказании уделено особое внимание суеверию, как смягчающему вину обстоятельству. Я сослался на то, что в примечании к одной из статей в разделе о религиозных преступлениях суеверию придается значение даже исключающего ответственность обстоятельства.

Докладчик С. К. Гогель стал со мною спорить и указал, что такого важного закона не существует и что память мне изменила, так как он лишь за несколько дней до того сдал свой магистерский экзамен, для которого пришлось ему перечитать несколько раз действующее уложение. Я не сдавался, но в пылу спора не мог указать номер статьи, которой я не имел случая читать уже много лет. Когда было закрыто заседание, у нас, с участием Гогеля, Щегловитова и проф. Боровитинова, завязался горячий спор. Все они утверждали, что я ошибся, что такого закона нет. Я настаивал и сгоряча предложил С. К. Гогелю, славившемуся своей

прекрасной памятью, пари в пользу земледельческой колонии для малолетних преступников, председателем правления которой был Щегловитов. Вернувшись домой, я стал лихорадочно читать уложение, статью за статьей, и нашел, что было нужно. Как сейчас помню, в примечании к ней значилось, что сибирские инородцы, допустившие при совершении своих суеверных обрядов убийство, освобождаются от наказания.

Я тут же написал Щегловитову, привел номер статьи и текст примечания. Кстати, после нашего спора указанное примечание было в последующем издании Улож. о Наказ. исключено, — притом в кодификационном, а не законодательном порядке.

С тех пор между нами установилась некоторая близость, при которой мне удавалось проводить через него помилования или смягчения наказания осужденным политическим преступникам. Надоедал я ему с этими ходатайствами часто, но он никогда не давал заметить, что слишком его утруждаю.

Совершенно непостижимо для всех, кто не посвящен в тайны делания служебной карьеры, Щегловитов оставил высокий пост об.-прокурора Сената и перешел на зависимую должность вице-директора департамента министерства юстиции. Одни лишь «тонкачи», ухмыляясь, говорили: «Скоро придется поздравлять Щегловитова с назначением министром: — в качестве вице-директора и директора он от поры до времени, будет сопровождать министра при высочайших докладах, свяжется со Двором, станет оказывать влиятельным придворным услуги по их ходатайствам — и процветет».

Тонкачи не ошиблись: года через полтора-два Щегловитов был назначен министром юстиции. Однако, по началу он держался с твердой независимостью. — Он решительно, в присутствии государя, высказался против роспуска I-й Государственной Думы, а затем и против изменения избирательного (3-ье июньского) закона. Его в то время даже подозревали в скрытом «кадетизме».

Не меньшую смелость проявил он и в представлениях государю о помиловании политических преступников.

Я знаю один из таких случаев, где его смелость граничила с дерзостью. Случай этот хорошо мне известен во всех подробностях, так как инспиратором помилования был я.

Часто я себя спрашивал, — нашел бы я в себе решимость, будь я в его положении еще неокрепшего министра, поступить так, как он поступил: должен признаться, совесть давала нелестный для меня ответ. Я имею в виду дело студента Дашевского, осужденного за покушение на убийство организатора кишиневского погрома Крушевана. Несмотря на посылку Крушевану государем соболезнующей телеграммы и регулярных справок о состоянии его здоровья, Щегловитов в первые же месяцы назначения его министром не убоялся представить, по моей просьбе, высочайший доклад об освобождении Дашевского от дальнейшего отбывания наказания (а оставалось свыше полутора лет). Доклад был удовлетворен. Я мог бы привести еще три таких же факта в пользу Щегловитова. Однако, это бесцельно. — О людях, как и о переживаемом дне, надо судить не только по восходу, но и по закату. Моральный закат Щегловитова начался спозаранку, да какой торопливый, бурный закат. — В нем не было даже постепенности. Изменение нравственного облика Щегловитова точнее было бы назнать не закатом, а стремительным обвалом. — Был человек, а на месте его вдруг оказался лишенный даже самолюбия, не говоря уже о достоинстве, услужающий «Союза Русского Народа».

Увидав в период третьей Государственной Думы, что реакция завладела Россиею надолго (не будь войны, великая страна еще долго бы трепыхалась в железных лапах безумной власти), Щегловитов стал стремиться сохранить надолго, какою бы то ни было ценою, полюбившийся ему министерский портфель. Чего только он не натворил! — Жутко вспомнить. Судей он третировал, как лакеев: посылал на ревизию не судебных мест, а их отдельных приговоров, таких бесцеремонных чиновников-террористов, как Глищинский, Храбро-Василевский и Лядов.

Те, не стесняясь, опрашивали стариков-судей: почему они, в качестве председательствующих в Особых Присутствиях Судебных Палат, допустили оправдательный или мягкий, по мнению ревизоров, приговор по тому или иному политическому или литературному делу. Волнуясь и краснея от переживаемого унижения, старики, из боязни оставить свои семьи без куска хлеба, вынуждены были лепетать жалкие слова самооправдания. Да и как им было не бояться, когда министерство Щегловитова дошло до прямых подлогов: публиковались высочайшие повеления об увольнении судей «согласно прошению», — между тем, они таких прошений не подавали. С прокуратурой Щегловитов расправлялся так, как вряд ли позволял себе обходиться со своею домашней прислугою. — При малейшем недовольстве кого-либо из губернаторов прокурором, тот немедленно переводился; были даже случаи их служебного понижения. Первой задачей министерства юстиции стала унизительная угодливость желаниям и похотям министерства внутренних дел. В сущности, не стало министерства юстиции: оно превратилось в одно из отделений Департамента Полиции.

Словно сбылось библейское пророчество о том, что придет день, когда семь жен будут ловить одного мужчину, отбивая его одна у другой, и станут молить: войди в дом мой и будь моим господином.

Кто только ни распоряжался в министерстве юстиции, кто только из действенных членов правых партий Государственной Думы ни влиял на судебные назначения, — в особенности, прис. пов. Шубинский и б. тов. прокурора Замысловский.

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Я решил, что надо итти к министру юстиции Щегловитову, чтобы связать его ответственностью перед Государственной Думой.

Однако, я полагал, что давние личные отношения могут отразиться неблагоприятно на успехе моего ходатайства: отделается доверительной ссылкою на свое ненадежное положение. На совещании, в котором участвовали П. Н. Милюков, И. И. Петрункевич, мой помощник Г. Ф. Вебер и я, мы остановились на том, что лучше всего пойти со мною бывшему председателю Земельной Комиссии первой Государственной Думы Муханову, так как депутат Герценштейн был товарищем председателя этой же комиссии.

На другой день меня посетил Муханов. Хотя я был предупрежден, что он болен раком желудка и обречен, — однако, он поразил меня истощенным видом, совершенно бескровным лицом и тяжелым запахом, который разил от него, когда он говорил.

Муханов — одна из интереснейших фигур русского либерализма. Богатый помещик, гвардейский офицер, однополчанин Николая II, с которым в полку был на «ты», затем вышедший в отставку и служивший по выборам в Черни-

говской губернии, он с первых же дней возникновения кадетской партии стал деятельным ее членом. Затем, будучи избран в І-ю Государственную Думу, Муханов, по своим личным качествам и земскому опыту, быстро занял видное положение в думской фракции своей партии.

Во время беседы по поводу предстоящего посещения Щегловитова я с болью почувствовал, что Муханов сознает свою обреченность и старается, хоть чем-нибудь, зацепиться за уходящую жизнь.

Я созвонился с Щегловитовым и попросил его назначить время вне официального приема с тем, чтобы для предстоящей беседы было уделено около часа. На следующий день мы посетили Щегловитова, который весьма внимательно отнесся к собранному матерьялу. Мне показалось странным, что Щегловитов не знает, будто бы, даже о самом существовании Союза Русского Народа. Он заявил, что представленный мною матерьял очень серьезен и убедителен, но он не видит — в чем, собственно, могла бы проявиться деятельность русского прокурорского надзора, так как убийство произошло в Финляндии, которая пользуется полнейшей судебной автономиею. Я указал в ответ, что виновники убийства, конечно, подсудны финским судебным местам, — но, ведь, речь идет о преступном сообществе, организующем политические убийства, а правление этого общества находится в Петербурге.

Щегловитов ответил: «Да, да, поскольку речь идет о сообществе, дело, конечно, подведомо прокуратуре Петербургской Судебной Палаты, но трудно будет начать это дело».

Я указал, что для начала вполне достаточно назначить прокурорское расследование. Щегловитов с этим согласился и предложил мне указать, кого из чинов петербургской прокуратуры я желал бы видеть во главе этого расследования. Я ответил, что не в праве обсуждать этот вопрос, так как такое назначение должно исходить от прокурора судебной палаты П. К. Камышанского: не считаю возможным его обходить. Щегловитов ответил с улыбкой, что и он сам чин прокуратуры, как генерал-прокурор.

— Не находите ли вы наилучшим кандидатом В. Я. Гвоздановича?

Я ответил, что уважаю В. Я., но считаю его человеком

мало для такого боевого дела подходящим, в виду слабости его характера, граничащей с безволием.

Действительно, В. Я. Гвозданович пользовался общими симпатиями, как безукоризненно честный и добрый человек, отличавшийся полной независимостью. Будучи очень богат и чужд всякого карьеризма, он прославился своим письмом б. министру юстиции Н. В. Муравьеву. Гвозданович служил в Москве в прокурорском надзоре в бытность Муравьева прокурором Палаты. Как известно, Муравьев был всегда в крайне стесненных денежных обстоятельствах. Ему не раз, в связи с этим, приходилось обращаться к В. Я. Гвоздановичу с просьбами о займе. Накопилась большая сумма. Когда Муравьев был назначен министром юстиции, он обратился к Гвоздановичу, с которым был на «ты», с официальным письмом следующего содержания: «Милостивый Государь, Василий Яковлевич! В виду назначения меня министром юстиции, я не считаю возможным быть должником моих подчиненных. Благоволите указать, сколько я вам должен».

Гвозданович на это ответил также оффициальным письмом: «Милостивый Государь, Николай Валерьяновичъ! Я всегда считал, что о дружеских долгах должен помнить не заимодавец, а должник, а потому ничем не могу вам быть полезен в этом вопросе».

Пришлось остановиться на Гвоздановиче, который, будучи плохим музыкантом, был хорош уже тем, что не предаст и не будет играть на два фронта.

Перед уходом я просил Щегловитова дать мне указания по следующему смущающему меня вопросу: Ларичкин, как и несколько других разоблачителей Союза Русского Народа, был совершенно без средств. Ясно, что, пока состоится привлечение в качестве обвиняемых, им необходима, какая ни на есть, материальная поддержка. Если эту поддержку начнем оказывать мы, то пойдут разговоры о подкупе свидетелей и даже обвиняемых.

Щегловитов прервал меня: «Помилуйте, вас этот вопрос совершенно напрасно смущает; если это все будет происходить под вашим наблюдением, то о каких недоразумениях может быть речь? — Мы вас достаточно знаем».

Мои предвидения относительно В. Я. Гвоздановича быстро оправдались. Гвозданович был весьма корректен, но

не в меньшей мере бездеятелен. Однако, отъ этого для дела никакого вреда не происходило. Маленькая, угнетенная страна (Финляндия) показала, — какую силу представляет самоуважение ее судебного ведомства. Кивенепский судья, в округе которого произошло убийство, стал, на основании предоставленных нами материалов, привлекать членов Союза Русского Народа, виновных в убийстве Герценштейна. Один за другим были привлечены: Ларичкин, Полознев, Александров и даже сам грозный начальник боевой дружины Союза Русского Народа Юскевич-Красковский.

Когда в Петербурге был арестован и препровожден в Финляндию этот, до тех пор казавшийся недосягаемым, начальник легализированных убийц, главных деятелей Союза Русского Народа охватили страх и смущение. — «Этак, — говорили они, — могут добраться и до доктора Дубровина».

Действительно, по ходу дела дошла очередь и до Дубровина. Незадолго перед тем, кивенепский судья (к сожалени, фамилию его забыл) сказал моему помощнику Г. Ф. Веберу: «Переговорите с вашим патроном, — нельзя ли избавить нас в дальнейшем от этого дела. Вы понимаете, что нам приходится навлекать на нашу страну со стороны Императорского Двора неудовольствие и даже гнев. Я только прошу об освобождении нас от этого процесса, но если это почему-либо трудно, — мы исполним свой долг».

Вскоре пришло в С.-Петербург требование об аресте доктора Дубровина. Прокурор Палаты П. К. Камышанский сказал мне с большим раздражением: «Этак вы скоро доберетесь и до Царского Села!»

Я на это ответил ему в таком же тоне: «У меня на все строгая очередь».

Камышанский, — к слову сказать, талантливый оратор и умница, — отличался полной беспринципностью. Конечно, это дело доставляло ему много волнений.

Я спросил Камышанского: «Вы исполните, конечно, требование кивенепского судьи?»

Камышанский вдруг заговорил тоном блюстителя достоинства русской прокуратуры:

— Помилуйте, это дело подсудно русским судам, — ведь, преступное сообщество действует на территории России, а главный совет его находится в моем округе, — это мы должны заняться этим делом».

Не трудно было понять игру Камышанского. Я ответил ему:

— Я сам был такого мнения, что вам давно уже следовало заняться этим делом, — но, к сожалению, вы, повидимому, были совершенно другого мнения, так как деятельность В. Я. Гвоздановича была парализована с первых же шагов. Сейчас идет речь не об ответственности этого преступного сообщества, а об ответственности отдельных обвиняемых в убийстве и, в частности, об ответственности доктора Дубровина. Это дело подсудно кивенепскому судье.

Камышанский откровенно заявил мне, что он потребовал от этого судьи препровождения ему, для ознакомления, всего производства, но тот оказался, как выразился Камышанский, «отчаянным грубияном» — и в ответ на требование прислал ему бумагу с предложением указать, какие именно из протоколов производства нужны министру юстиции: по получении указания, он препроводит ему копии соответствующих протоколов.

Таким образом, затеянный фокус с отобранием дела у кивенепского судьи расшибся об его твердость. Не получая ответа на свое требование об аресте Дубровина, кивенепский судья прислал в Петербург двух финских полицейских для ареста его. Камышанскій представил это требование на усмотрение министра юстиции.

Щегловитов указал, что требование это исполнять не следует. Позднее, после февральской революции, Щегловитов дал ребяческое об'яснение: у него, де, не было подлежащих сумм для препровождения Дубровина в Финляндию под охраной русских полицейских властей.

Однако, господа дубровинцы, убедившись, что с маленьким, но крепким кивенепским судьей ничего не поделать, поспешили препроводить Дубровина в «бест» к генералу Думбадзе, в Ялту. Один за другим, все участники убийства, кроме скрывшегося доктора Дубровина, были приговорены кивенепским судьей к каторге (по финской лестнице наказаний — смирительному дому). На разбирательстве дела в кивенепском суде с нашей стороны, в качестве гражданских истцов от семьи покойного депутата Герценштейна, принимали участие, кроме Вебера, П. Н. Переверзев, а затем А. С. Зарудный. Со стороны же защиты привлеченных убийц выступал прис. пов. Булацель.

Само собою, я передал товарищам, выступавшим в ки-

венепском суде, нашу беседу с Щегловитовым. На суде, по ходу дела, А. С. Зарудный сгоряча процитировал эту беседу. Конечно, можно было пожалеть об этой откровенности, так как она ставила Щегловитова в неудобное положение. В ответ на заявление об этом Зарудного, Булацель выразил искреннее недоумение.

— Странно, а мне министр юстиции говорил совершенно противоположное и указывал на недопустимость материальной поддержки со стороны семьи убитого Герценштейна участников этого убийства.

Меня поразило такое двоедушие И. Г. Щегловитова: ведь именно он успокоил мою тревогу насчет того, что мы можем оказаться в ложном положении.

Дальше — больше. Возвратившись в Петербург из одной из поездок в провинцию, я застал в большой тревоге моего помощника Г. Ф. Вебера: его вызвал судебный следователь Петербургского Окружного Суда для допроса по делу о подкупе, будто бы, свидетелей по производящемуся в Финляндии делу об убийстве Герценштейна. На этом допросе присутствовал товарищ прокурора С.-Петербургской судебной палаты Кукранов.

Я немедленно отправился к Камышанскому и просил его передать Щегловитову, что, если натиск на Г. Ф. Вебера не прекратится, я явлюсь к судебному следователю и дам показание относительно того, что инкриминируемые Веберу выдачи совершались с ведома и согласия министра И. Г. Щегловитова. Результатом моей беседы с Камышанским явилось прекращение дальнейшего производства следствия и передача дела о некорректном, будто бы, образе действий Г. Ф. Вебера на рассмотрение совета присяжных поверенных. Я написал краткое об'яснение в Совет, в котором было указано: то действие, которое инкриминируется Веберу, составляет преступление, — именно, склонение свидетелей к даче ложного показания; такое обвинение в уголовно-наказуемом деянии не подсудно Совету, а подлежит преследованию со стороны судебных властей. Стало быть, совету присяжных здесь делать нечего. — Либо Вебер совершил преступление, — в таком случае его должны судить, как подстрекателя к лжесвидетельству; либо, если такого подстрекательства не было, то в действиях Вебера с точки зрения профессиональной этики, все правильно.

Совет так и поступил: в первом же заседании постановил: дело производством прекратить.

С того времени я ясно понял, что Щегловитов находится в плену у Союза Русского Народа и что поднятый мною процесс лишь послужит ему средством для обязания перед собою Совета. Что касается расследования, которое было возложено на товарища прокурора Гвоздановича, то, к сожалению, вышло так, как я предполагал: он беспомощно барахтался, не зная, с какого конца приступить к этому делу. Давать же ему указания, несмотря на мои добрые с ним отношения, я не считал возможным во избежание в будущем каких-либо нареканий на него и на меня.

Все привлеченные были осуждены Кивенепским судом, на котором главным свидетелем выступал жандармский унтер-офицер станции Куоккала — Запольский. Он дал подробные, вполне соответствующие истине, показания о странных лицах, появившихся в Куоккала и обращавшихся к нему с пред'явлением удостоверений охранного отделения за подписью градоначальника того времени фон-дер-Лауница.

Прошло несколько месяцев, как совершенно неожиданно для финляндских властей явился чиновник из Петербурга и пред'явил высочайшее повеление об освобождении всех осужденных, кроме Ларичкина. Последний, как раскрывший преступление, не удостоился высочайшей милости.

Вскоре после осуждения кивенепским судом убийц депутата Герценштейна, ко мне явился в штатском платье жандармский ротмистр Дукельский. Он об'явил мне следующее: «По распоряжению министра внутренних дел, я явился, чтобы об'явить о назначении вам охраны. По поступившим в министерство точным сведениям, Главный Совет Союза Русского Народа постановил убить вас. Такая же охрана назначена для Милюкова и Гессена».

Я на это ответил: «Я благодарен министру за его заботы о моей жизни, но мне не понятно — зачем мне охрана, когда вы обязаны арестовать тех, которые в качестве членов преступной шайки, умышляют убийство». Жандармский ротмистр Дукельский ответил: «Я не могу входить в оценку действий моего начальства и пришел вам об'явить, что у вашего под'езда будут дежурить два агента охранного отделения».

На это я заметил: «По моим наблюдениям, такая охрана уже введена давно».

Дукельский улыбнулся: «Та охрана именуется наблюдением; охрана же, которую назначил для вас министр, ничего общего с этим не имеет».

Действительно, с того дня у моего под'езда появились два агента, — очень услужливые: когда я возвращался ночью домой, они хлопотливо отстегивали полость извозчичьих саней и сметали с меня снег. Случалось посылать их за папиросами.

Через недели три после «установления охраны», ко мне явился снова ротмистр Дукельский: «Мои агенты жалуются на то, что им трудно отправлять добросовестно возложенные на них обязанности, так как вы с утра уезжаете из дому и им остается неизвестным, где именно в тот или другой час вы находитесь».

Я на это ответил: «Вы назначили мне охрану без моего ходатайства; я ни минуты не сомневаюсь, что ваши агенты принадлежат к Союзу Русского Народа; какой же мне резон давать им указания — когда и куда я отлучаюсь. В мои обязанности отнюдь не входит оказание содействия тем, кому я не доверяю. Да, кроме того, случайно у меня уже есть охрана, — надо мной живет шеф жандармов Курлов, который, как мне известно от общих знакомых, очень мило шутит, что он находится под охраной Грузенберга. Передайте господину министру, что я очень тронут его заботой, но что я ни минуты не сомневаюсь, что если буду убит, то при содействии назначенных для моей охраны агентов, — риска для них нет никакого: и царей, де, нельзя уберечь, а тем более частное лицо».

Так продолжалось два месяца. И я, и мои охранники, при встречах друг с другом, отворачивались: им, как и мне, была противна вся эта комедия.

Через некоторое время они явились в мою квартиру и конфузливо сообщили, что охрана, по распоряжению начальства снимается, в чем просят меня расписаться. Я расписался на предложенной бумаге и сказал моим телохранителям:

— А, все-таки, я перед вами в долгу, мне совестно, что вы из-за меня простаивали целые ночи под снегом и ветром. Вы, надеюсь, не обидитесь, если я вам передам маленькую сумму за причиненное беспокойство.

Они не обиделись.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

РАБОЧИЕ.

Интересно было бы проследить превращение крестьянина в фабричного рабочего и те изменения, которые оно вносит в его духовный мир. Эта работа теперь мне не по силам: оборвалась связь с внешним миром. Работает только воспоминание.

Что знало мое поколение о рабочем, живя в стране с бедной, едва зачинающейся промышленностью?

Мы знали — и то по книгам — западно-европейский пролетариат, как нарождающийся новый класс, но и его мы слабо представляли себе в о п л о т и.

В замечательной статье («57-ой год Республики единой и нераздельной»), Герцен писал: «...Из-за полуразрушенных стен явился не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый в рубище, — этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил наконец, где же е г о свобода, е г о равенство, е г о братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника; взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок».

Как адвокату, мне приходилось вести дела рабочих, а еще чаще — защищать их в политических процессах. Но и тогда я познавал их «лишь как особи», и не мог уловить роевых, классовых черт.

Несколько ближе знал я жизнь рабочих Сестрорецкого оружейного завода, так как проводил в Сестрорецке летние месяцы.

В первое же лето ко мне пришла за советом делегация из трех лиц: старика и двух молодых.

Старик этот, по преданности своему брату-рабочему, по живому уму, начитанности и благородной настойчивости стоил десятка молодых. У нас скоро установились добрыя отношения — и старик вместе с двумя делегатами (в этом отношении он был формалист) стал наезжать ко мне в город, чтобы посоветоваться по неотложным вопросам. Выбирал он для этого воскресные или праздничные дни, не ленясь драть пехтурою с далекого Новодеревенского вокзала.

Деликатности старик был редкой. — Раз как-то он со своими товарищами попал ко мне в незадачливый для них день: обедал у нас М. Горький. Они заприметили его в открытую в переднюю дверь. Я вышел к ним в приемную.

— Нет, так не годится, — сказал старик, — не покидать же вам из-за нас такого человека, придем в другой раз.

Я возразил, что Горький остался не один, — с ним вся моя семья, а тратиться лишний раз на проезд в два конца по железной дороге и лишать себя праздничного отдыха нет основания.

Старик стоял на своем и ласково попросил: «Нельзя ли посмотреть нашего Горького поближе?»

Я пригласил их в столовую. Уселись. Жена моя попросила их закусить. Они ни до чего не дотронулись. Старик и его спутники все время щупали Горького глазами. Потом быстро поднялись: «У вас свои дела, мешать вам не станем, а за Горького спасибо; не ошиблись, — он такой, как мы думали», — сказал, прощаясь, старик.

Однако, и этих встреч нельзя считать познанием рабочей среды, как спаянной группы: они дали лишь постижение некоторых черт.

В массе узнал я их на одном и, кажется, единственном в истории русского суда, рабочем, — так называемом «Максвельском деле».

Естественное возражение: одно дело не может дать исчерпывающего познания, — тем более, что народной мудрости приписывается изречение: чтобы узнать человека, надо скушать с ним пуд соли.

Вряд ли эта мудрость исходит от народа: слишком дорожил он солью, чтобы потратить пуд ее для познания одного человека. — Скорее всего это придумали в собственных интересах солепромышленники.

Если знаешь отдельные, хотя бы и разрозненные, черты той или иной группы, наступает день, когда оне свиваются в сознании в единый пучок, которого не смешаешь ни с каким другим. День этот приходит тогда, когда, охваченный глубоким переживанием, рой проявляет себя так, как если бы он был один человек.

На Шлиссельбургском тракте, под Петербургом, неприметно вырос рабочий поселок с населением свыше 75 тысяч человек. Проживали они, большей частью, в казармах заводов или фабрик, в которых работали; семейным предоставлялись отдельные каморки.

По составу своему они были выходцы из деревень с ничтожной примесью подгородного мещанства.

Однако, крестьянство это порвало связь с деревнею, уступив свои земельные наделы родным: в деревне рабочие выправляли лишь паспорты и наезжали туда редко.

Среди рабочих было сильно влияние организованного Лениным «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Благодаря этому союзу, рабочие научились грамоте и стали читать хорошо подобранные книжки и листовки.

Для этого чтения они крали время у ночного отдыха. Я редко встречал среди интелигенции, даже в писательских кругах, такую ненасытную жадность к знанию, какою была охвачена рабочая среда.

«Максвельское дело» привлекло к себе внимание широких общественных кругов вследствие необычайной жестокости, которая была применена полициею к рабочим только за то, что они, защищая свой кусок хлеба, объявили забастовку.

Забастовка эта проходила, как все рабочие забастовки того времени, без порчи машин, занятия фабричных помещений, без малейшего насилия или оскорбления кого-либо из высшего служебного персонала.

Это была забастовка со скрещенными на груди руками.

Даже прокламации, к забастовке призывающие, носили чисто-профессиональный характер. В них говорилось об условиях работы в ткацкой и прядильной, о чистке машин в рабочее время, а не даром в часы отдыха, требовалось пускать на фабрику и после свистка, за опоздание делать вычеты из заработной платы, а не гнать со службы, восстановить отмененные в интересах фабрикантов праздники.

О политических требованиях ни слова. — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» старался уменьшить в конфликтах рабочих с администрациею число неизбежных жертв. Он сознавал, что как только рабочие начнут отстаивать энергично свои трудовые права, они и без того неизбежно столкнутся с политическим строем и поймут, что без изменения его нельзя разрешить справедливо противоречия между трудом и капиталом.

Однако, «охранное отделение» обратило простую забастовку в кровавое столкновение.

Не довольствуясь тем, что в среду рабочих были введены агенты-провокаторы, оно командировало еще своего надзирателя, который в штатском платьи полез на улице в рабочую толпу. Четверо рабочих накинулись на него и поколотили. Одного из них задержали на месте, трое других скрылись на своей фабрике. Задержанный рабочий растерялся и назвал скрывшихся. Несмотря на поздний ночной час, пристав шлиссельбургского участка Барач, по соглашению с полицмейстером, решил проникнуть безотлагательно на фабрику для ареста трех скрывшихся.

На пристава Барача не действовали никакие резоны: он, повидимому, считал, что наступил день его служебной славы и отличий, — тот день, о котором мечтает всякий, не лишенный честолюбия, полицейский. Он доложил градоначальнику о «рабочем бунте». Тот распорядился действовать энергично.

Свершилось нечто дикое: на максвельскую фабрику кроме пешей полиции был отправлен отряд конной полиции свыше 150 человек, дан им в подмогу эскадрон жандармов. Началась военная осада безоружных людей. Рабочие закрыли тяжелые входные ворота — и решили защищаться.

Если русский человек не умеет жить, то умирать он умеет, как никто. Самая дешевая его ставка — жизнь: на, бери, — и без того она мне опостылела!

Барач решил взять фабрику приступом. Распорядился сломать ворота — и начать атаку. Рабочие, заняв лестничные площадки всех пяти этажей, стали яростно кидать в полицию все, что попадало под руки.

Особенно горячо и смело сражались работницы. Оне кричали: «Рабочие не баре, своих не предают; нам смерть и вам смерть!»

Поведение работниц меня не удивило: я давно знал, что

когда ищешь «настоящего мужчину», то найдешь его только в женщине.

Победа осталась, конечно, за полициею. Барач носился по всем этажа и дико выкрикивал: «Руби их, как капусту!»

Ну, и рубили, — да так хорошо, что многих арестованных пришлось развезти по больницам. Уцелевших сослали, большей частью въ административном порядке. Суду предали лишь человек двадцать по обвинению в сопротивлении властям силою. Обвинение, в смысле доказательств, было обставлено сильно: защите не пошевелиться.

В защитники пошла не только молодежь, но и старики, недолюбливавшие политических и общественных защит. Первым отозвался председатель Совета присяжных поверенных П. А. Потехин. — Большой умница, великолепный оратор, находчивый полемист, — он сторонился уголовной практики: очень уж она изнурительна и материально не выгодна. Он быстро составил себе большое состояние на ведении гражданских дел и в полном цвете сил отошел от практики, посвятив себя интересам сословной жизни и просветительной деятельности, в качестве председателя училищной комиссии С.-Петербургской Думы.

Возмущение бессовестностью полиции и беспомощностью рабочих было так велико, что оно победило его политические антипатии. За ним последовал Н. П. Карабчевский — правый в жизни и левый, благодаря темпераменту, на суде; затем, Родичев — всегда и во всем искренний, стихийно талантливый, из категории ораторов-погромщиков.

За несколько дней до судебного заседания защитники собрались на совещание относительно распределения ролей и отдельных подсудимых.

Само собою, лидерство на суде должно было быть предоставлено Потехину или Карабчевскому в виду не только таланта, но и авторитета, которым они пользовались в судебной среде и в обществе. Я высказался мотивированно в этом смысле.

Едва я закончил свои доводы, Потехин сказал: «Ни я, ни Николай Платонович (Карабчевский) в лидеры на таком процессе не годимся; стары мы для этого и отяжелели; вы же драчун милостью Божьей и убеждены, что нет безнадежных дел, а существуют лишь безнадежные защитники, — вам и лидерствовать».

Я возразил, что каждый из подсудимых в отдельности безнадежен в смысле виновности, но самое дело надежно; если нам удастся заразить судей нашим негодованием, это отразится на размере наказания. Ордером министра юстиции закрыты двери суда, но не наши уста; подсудимых два десятка, — значит, им принадлежит право ввести в зал заседания 60 человек безо всяких об'яснений, а кого ввести — это будет наше дело; подберем авторитетных в разных общественных кругах людей, — вот вам и публичное заседание, не на много уступающее обычному при открытых дверях. Если так, то чем почтеннее будет возглавление, тем лучше.

— Ну, вот, видите, сразу надумали, — возразил Потехин, — вам и лидерствовать. Кроме того, вам дадим, как и всякому из нас, и отдельных подсудимых.

Товарищи назвали Марию и Арсения Ястребовых.

Нечего ханжествовать: высокая оценка твоих сил старшими товарищами, конечно, лестна, но расплата за нее лидерством на суде несоразмерно-велика.. Лидерствовать — это значит: 1) невозможность отлучиться ни на минуту из судебного заседания; 2) знать дело во всем об'еме на-зубок; 3) собачиться все время с прокурором по поводу каждого его ходатайства или заявления; 4) быть готовым, не заглядывая в книгу законов, к даче заключения по юридическим вопросам, во время слушания дела возникающим; и 5) разгадать быстро характер каждого из подсудимых, чтобы не оскорбить усердием защиты политических его верований.

Я собрал в большой камере Дома Предварительного Заключения всех подсудимых, чтобы ознакомиться с их взглядом на дело и уловить, — о чем они более пекутся: о себе или об общей пользе и интересе.

Несмотря на продолжительное заключение в одиночных камерах, действующее особенно тяжело на людей, привыкших к повседневному физическому труду, подсудимые чувствовали себя, если не бодро, то в состоянии большого душевного под'ема. Ни один не спросил меня о роде и размере ждущего их наказания. Чувство обиды на то, что из мухи сделали слона, оторвали их от трудовой жизни, осилило все другие чувства.

Работница Мария Ястребова, волнуясь, говорила: «Нужно показать, что для полиции рабочий человек — не человек, что с ним можно делать что угодно, мордовать хуже скотины, что скотину хозяин жалеет — денег она стоит, а рабочего незачем жалеть, — абы корыто, свиньи будут; пускай защитники думают не о нас, а о нашей обиде, — мы вот сидим запертые, детей своих не видим, а Барач разгуливает и посмеивается; пусть хоть на суде получит свое».

— Вон вы какая! То-то товарищи наградили меня вами и вашим мужем. Значит, и мы, защитники, должны не жалеть вас, а я думал, что хоть кому-нибудь надо вас пожалеть.

— Нечего нас жалеть, коли нам самим себя не жалко.

— Как хотите, — без жалости легче защищать; скажите, Мария, сколько вам лет?

— Двадцать восемь... А Арсений почти что мой ровесник. А что, на вид разве больше?

— Много больше. Странно, народ вы непьющий, — того и Барач не говорит, а все вы старше своих лет.

— Работа не прибавила нам заработка, зато прибавила годы.

— А книжки и листовки вашего «Союза» читаете? Небось, бунтуют они вас?

— Нет, не бунтуют, а только сами теперь видим, что без бунта нам не обойтись.

Настал день суда. Судила С.-Петербургская судебная палата, с участием сословных представителей. В виду «важности» дела, председательствовал Старший Председатель Палаты.

Едва открылось заседание, он об'явил, что дело будет слушаться при закрытых дверях. Один за другим, стали подыматься подсудимые с заявлением об оставлении в зале заседания по три человека от каждого.

Требование это было строго законно и не нуждалось ни в каком обсуждении.

Председатель, услыхав имена известных общественных деятелей, растерянно произнес: «Вон оно что! Ваше заключение, г. прокурор!»

Тот, пожав плечами: «В виду соответствия ходатайства подсудимых статье 622 устава уголовного судопроизводства, возражений не имею».

Председатель, окончательно смущенный, об'являет:

«Особое Присутствие определяет — ходатайство подсудимых оставить без последствий».

На скамье защиты проносится легкий гул не столько возмущения, сколько удивления: слишком уж дико. Я же испытываю глубокое удовольствие за подсудимых. — Когда допускается явное нарушение, которое, в случае обжалования, не может не повлечь за собою отмены приговора Сенатом, суд всегда старается ублажить защиту особой мягкостью приговора.

Защита, значит, так же обеспечена, как обеспечен гимнаст, проделывающий опасный номер над растянутою сеткою: сорваться, конечно, неприятно, но риска разбиться никакого.

Прочли обвинительный акт. Опросили подсудимых. Вызвали свидетеля Барача.

Он вошел, выпятив грудь, с видом генерала на бедной свадьбе, сознающего, что на него устремлены все взоры.

Он подробно, наслаждаясь своим бесстрашием, рассказал, как атаковал рабочие казармы, как брал с бою этаж за этажем, как рабочие швыряли в него обломки скамеек, кухонных столов, выливали ушаты с помоями, а он со своим отрядом шел, шел — и дошел.

Подсудимые волнуются, вполголоса корят нас: «Барач и здесь похваляется, куражится нашим горем и обидою!»

Я их тихо урезониваю: обругать Барача недолго, можно даже добиться удаления нас, защитников, из заседания, но вас мы с собою не уведем, — мы на волю, а вы — в тюрьму; оставить за Барачем поле битвы и дать ему еще пуще куражиться — глупее глупого; повремените: может быть, надумаем что-нибудь похитрее.

Рабочие доверчиво успокаиваются: знают, что не обманем.

Допрос Барача переходит к защите. Он еще больше выпячивает грудь, мечет злобно-презрительные взгляды.

— Скажите, свидетель, откровенно: из-за чего вышло такое страшное дело, — неужели только из-за того, что двое рабочих, оскорбивших действием переодетого сыщика, проживали в казармах? Вы опытный полицейский, — значит, знаете, что такие дела подсудны мировому судье, который назначил бы небольшой денежный штраф или, в крайнем случае, несколько дней ареста; а вы врываетесь глухою ночью в семейные рабочие казармы, вызываете конных жандармов, полицию, ломаете рабочим ребра, истязаете их, подставляете под их удары полицейских и себя, — во имя чего гибель себя бысть?

— Во имя авторитета власти, г. защитник, — власть, не должна давать бунтарям спуска.

— Авторитет власти великое дело, но он подлежит охране в пределах закона, а закон воспрещает то, что вы сделали; имена и адреса провинившихся вам были хорошо известны, содержать их под стражею вы были бы не вправе, а должны были ограничиться посылкою сообщения мировому судье — и конец. Причем же тут авторитет власти?

Пристав сначала теряется, а потом нагло выпаливает:

— Прошу меня не учить, — у меня свое высшее начальство.

— Правильно. Тогда не откажите сообщить, — когда состоялся суд над вами, и отбыли ли вы уже наказание?

— За что суд, какое наказание? Смешно слушать!

— За что суд? За превышение власти и причинение членовредительства. Какое наказание? — По меньшей мере, — тюрьма.

Председатель Судебной Палаты:

— Г. защитник, вы оскорбляете свидетеля, — никакому суду и осуждению он не подвергался.

Барач победоносно:

— Мое высшее начальство меня благодарило.

— Г-н председатель, прошу занести в протокол, что мой вопрос о применении закона вы назвали оскорблением и что, по удостоверению г. Барача, он получил от высшего начальства благодарность.

Председатель укоризненно, но мягко:

— Ну, вотъ, пошли всякие формальности!

Я теряю терпение и заявляю:

— Прошу занести в протокол, что мое законное требование вы назвали формальностью, на что я ответил, что содержание подсудимых в тюрьме — не формальность, что обида и голод их семей — не формальность, что суд Особого Присутствия — не формальность и что исполнение защитою своих обязанностей она не считает формальностью.

Председатель объявляет перерыв. Товарищи удовлетворенно жмут руку. Подсудимые сияют: «Спасибо, наконец-то Барач получил все сполна».

— Нет, милые, не сполна, это только цветочки, а ягодки, — точнее ягодка, еще впереди.

Появляется секретарь и вполголоса говорит мне:

— Старший председатель просит вас пожаловать в совещательную.

Отвечаю громко:

— К сожалению, не могу воспользоваться любезным приглашением, — я все еще так взволнован, что наше объяснение ничего, кроме неприятностей, дать не может: он обкладывает Барача бережно ваткою, как неприкосновенную святыню, а для меня Барач — незанумерованный преступник, притом нагло торжествующий даже на суде.

Через несколько минут судебное заседание возобновляется. К свидетельскому барьеру подходит Барач:

— Прошу меня освободить.

— Ваше заключение, г. прокурор.

— Мне этот свидетель более не нужен, — я полагал бы освободить его от дальнейшей явки.

— Слово за вами господа защитники.

Я отвечаю: просим оставить этого свидетеля до конца судебного следствия, причем, во избежание возможности его влияния на неспрошенных свидетелей из чинов полиции и жандармерии, защита ходатайствует о помещении его в особую комнату, к дверям которой приставить стражу.

— Проще говоря, вы ходатайствуете об аресте полицейского пристава Барача, по крайней мере, на три дня.

— Проще говоря, ваше превосходительство, я ходатайствую, в интересах наших подсудимых, о соблюдении закона и таких-то раз'яснений, преподанных сенатом.

— Господин судебный пристав, отведите свидетеля Барача в отдельную комнату и приставьте к дверям ея стражу.

У изумленного Барача пропала молодцеватая выправка. Он стрельнул в меня взглядом ненависти.

Я ответил ему нежной улыбкою: люблю диких зверей за решеткою.

Через четыре дня дело закончилось мягким приговором.

Удивительнее всего было то, что Особое Присутствие постановило: впредь до вступления приговора в законную силу, освободить всех осужденных от содержания под стражею, заменив прежнюю меру пресечения поручительством.

Мы, конечно, поручились. — Подсудимые были немедленно освобождены.

Через несколько дней пришли ко мне Мария и Арсений Ястребовы.

— Не побрезгуйте нашим подарком, — сказала весело Мария.

Арсений сконфуженно подал мне ювелирную коробку, в которой находился серебряный, позолоченный подстаканник с выгравированной милой надписью.

— Послушайте, это чорт знает что! Разве рабочие могут делать такой дорогой подарок, — в нем ваша заработная плата за несколько дней, значит, вы голодали или будете голодать, пока не окупится этот большой расход.

— Ну, вот еще что выдумали: голодать...А хлеб с чаем разве не еда?

— Ну, вот что: этим подстаканником буду пользоваться только тогда, когда будете приходить ко мне чай пить. Начнем сейчас же.

За чаем мы разговорились. Ястребовы, дополняя друг друга, расказали, что на другой день после приговора пристав Барач вызвал всех подсудимых к себе в участок, вышел к ним злой-презлой и сказал:

— Гуляете? Получили от Судебной Палаты поощрение? Проклятые адвокатишки... Как вы их заполучили?

Не дожидаясь ответа, затопал ногами, повернулся и ушел, хлопнув дверью.

— А скоро ли нам придется сесть в тюрьму?

— Не раньше, как через полгода. Будут вас судить на-ново.

— Как так?

— Особое Присутствие сделало сгоряча несколько серьезных ошибок; пишу жалобу в сенат; уверен, что приговор будет отменен, назначат новый разбор дела; наказания увеличить не могут, так как прокурор не подает протеста; с новым назначением дела торопиться не станут, раз вы все теперь на свободе. — Значит, рабочие могут накопить хоть немного денег, чтобы во время отсидки семьи их не нуждались.

Так оно и произошло.

Сенат нашу жалобу уважил: приговор отменил и возвратил дело для нового рассмотрения в другом составе присутствия.

При вторичном разборе дела мне участвовать в защите не пришлось, так как слушание его совпало с защитою в провинции.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О В. Г. КОРОЛЕНКО.

Пришли книги от семьи В. Г. Короленко: «Полное посмертное собрание сочинений. — Государственное Издательство Украины».

Обложка, бумага, печать бережливые, скромные, — впору тому, кто, обладая внутренним богатством, никогда не рядился в зазывные, пышные одежды.

И редакционная комиссия не штампованная, не «всероссийски-известные», а свои, — те самые, кто жили и работали с Короленко изо дня в день и не уступают ему в высоте и напряженности душевного строя: вдова его Авдотья Семеновна, дочери Софья Влад. Короленко и Наталья Влад. Ляхович.

Помогают им друзья, Т. А. Богданович и М. Л. Кривинская.

Первоначальный план издания был рассчитан на 40 томов, но теперь, в ходе работы, он очень разросся и вряд ли в них уберется.

Планировка была такая: на художественные произведения — 22 тома; на публицистику — 11; на дневники — 6 и 1 том — для биографии.

Выпускаются книги как-то вразбивку: за пятым томом следует седьмой; за восьмым — тринадцатый, а там, вслед за низким номером, — вдруг пятидесятый.

Об'яснение этому дает в одном из писем ко мне Авдотья Семеновна Короленко: «...Прочитавши наш план работы, можете сказать, почему так печатается не подряд. Это отчасти зависит от комиссии, а отчасти и издательства. Некоторые вещи нельзя скоро сделать и их приходится откладывать и

постепенно обрабатывать. А чтобы обработать, нужно существовать, — поэтому и отправляются такие томы, которые дали бы гонорар и тем самым дали бы возможность работать над трудными томами. А бывает и так, что только по мере разработки всего материала можно приступить к следующему тому».

До сих пор всего сдан редакционною комиссиею 31 том; выпущен последним — 18.

В этой инвентарной описи глаз задерживается на двух цифрах: 22 тома беллетристики и 11 томов публицистики... Бухгалтерский вывод: половина творческих сил отдана общественности.

Здесь узел творческой драмы Короленко. Не легко конкурировать с другими — но конкурировать с самим собою — неизбывная мука. И эта мука была уготована ему судьбою: наряду с художественным талантом, она наделила его не меньшим талантом сердца. Беспокойно деятельное, толкавшее его от подвига к подвигу, оно захватывало все его существо, посягая на самый творческий процесс.

Годы 1891-1892. Поволжье охвачено неурожаем. Надо кормить голодных, усовещевать сытых. Не до сказов. Надвинулась страшная правда, — та, что страшнѣе всяких вымыслов. — Короленко со всей своей семьей окунулся в чужие слезы. Погибло, вероятно, несколько художественных произведений. Что в том! — Зато спасены сотни человеческих существ.

Надломленный, едва дописав послѣднюю строку отчета обществу о пережитом («Голодный год»), Короленко едет в Америку. Пытливо наблюдает, ищет, тщательно записывает. Привозит с собой большой материал, много набросков. Начал сводить их, обрабатывать. Написал несколько прекрасных глав, теперь впервые напечатанных под заглавием — «В Америку». Вдруг навалилась на него новая беда. Появилось в газетах известие про небывалое дело: вотяков обвиняют в человеческом жертвоприношении. Он кидается в Елабугу.

Опять отрыв надолго от художественного творчества.

Так почти всегда, если внимательно проследить жизнь Короленко, порывы сердца обворовывали его художественный талант. Они уносили с собою не только его время и силы, но врывались, как отмечено выше, в самый процесс творчества.

Видел я на Урале, как перевозили золото: возили его не в шелковых тканях, а в грубых кожаных мешках. И золото художественного творчества нуждается в суровой до грубости оболочке. — Нельзя во время описания ужасов жизни дрожать самому от страха, — не обрисовать чужого горя, когда слезы застилают глаза.

Есть ораторы, есть писатели, страстность которых сжигает слово раньше, чем оно произнесено или записано. Потом они ищут схожего, — не находят; для их напряженного чувства всякое слово представляется крохотным, тесным, рвущимся... Наконец, заменяют его каким-нибудь словом, хоть слабо приближающимся к сожженному. И, когда им рукоплещут, они остаются печальными: они знают, что могли дать, и что дали.

Быть поэтом, — по крайней мере, русским поэтом, каким был Короленко, значит, раствориться в миллионах одноязычных, расплескать себя по всему лицу безграничной русской земли с ее долами, горами, лесами, потом собрать себя воедино, чтобы петь про неволю, про тусклое бытие, про короткую радость мечты.

Короленко во всем рассказывает себя и только себя.— В сказках о герое и робком, о подвиге и себялюбии, о звере и птице, о лесе и былинке, — всюду и во всем он. И это хорошо. Не столько важен отображенный им внешний мир, сколько важно, как он окрасился кровью сердца поэта, как расцвечен его мечтою.

Для такого поэта, как Короленко, рассказать себя не значит быть однообразным, повторяться. У поэта его масштаба не может быть бедной, упирающейся в тупик души: такая, с одной-двумя нотами, бывает только у воробушек и иной пичужки.

Он побывал на дне русской жизни, изведал тюрьмы, этапы, ссылку, исходил даже те углы Сибири, где ворон почитается певчей птицею, — и все же вынырнул на поверхность бодрый, любящий, радостный.

Он не обиделся на жизнь, не озлобился на людей: в сумраке тюрем и этапов он зажигал яркое солнце вымыслов, молчание неволи он красил бодрою и бодрящей песнью. Посмотрите сибирские записи в 1 томе «Дневника» *) бодрые, почти радостные записи.

*) Том XVIII Полного собрания сочинений.

Его любовь к людям, ко всему живущему была, словно солнце: она светила и добрым, и злым — своим и чужим. Всегда, до последних дней, в нем лучился пафос жизни, которого ничто не могло ни истребить, ни даже ослабить. Коснувшись в одном из писем ко мне вопроса о пессимизме, о тяге к самоубийствам, он сурово писал: «Почему думают, что виновата жизнь, а не воспринимающая ее душа? — Разве в какофонии всегда виноват звук, а не улавливающее его извращенно ухо?»

Словно мягкими шелками, пеленал он своих читателей, — и те радостно отдавались ему в полон, безропотно поднимались вместе с ним на недосягаемые обычно для них высоты.

Чарующей власти его песни не избежал и суровый вершитель судеб 160-миллионного народа — Александр III. Ознакомившись в 1889 году с некоторыми произведениями Короленко, он так был увлечен его талантом, что запросил... шефа жандармов, министра внутренних дел Дурново.

На поднесенном ему докладе, состоявшем сплошь из справок Департамента Полиции, император начертал: «По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежна». И все же, не совладав с обаянием этой неблагонадежной личности, с грустью приписал: «А не без таланта».

Всплывает в памяти характерный случай. Переполненный публикою зал Особого Присутствия С.-Петербургской судебной палаты. Короленко на скамье подсудимых по обвинению в помещении в редактируемом им «Русском Богатстве» статьи («Федор Кузьмич» Толстого), оскорбляющей память предков царствующего монарха. Подымается для произнесения речи прокурор. Настораживаюсь, чтобы не пропустить ни одного из обвинительных доводов. Проходит минута-другая, томительные, долгие. Прокурор стоит безмолвный, слегка побледневший, — и, наконец, еле слышно начинает: «Не скрою, не могу скрыть от вас, г. г. судьи, что мне тяжело обвинять того, кому я обязан многими прекрасными минутами...» И хрипло, едва сдерживая волнение, продолжает: «Ведь у меня под подушкою лежали и «Лес шумит», и «Слепой музыкант» — и я, пробуждаясь ночью, просыпаясь утром, жадно впитывал в себя благоухание и музыку этих поэм. Что говорить: то же самое пережили, вероятно, и вы, — если не все, то некоторые». Затем, конеч-

но, последовало — н о... и обвинительная речь, — однако, пугливая, сконфуженная. Состав преступления формально был налицо, но судьи-читатели, захваченные признанием своего сотоварища, постеснились на этот раз осудить того, кто дал им когда-то радость.

О произведениях Короленко, об их значении для литературы и роста русской общественности много писали и еще больше будут писать критики и историки, когда утрамбуется взрытая войной и революцией русская жизнь.

На тех, кто были близки к Короленко, лежит другой долг: собрать крупицы его поэзии, неписанной, передаваемой из уст в уста по памяти, — крупицы непревзойденной поэзии его дел. — Ведь все, что делал Короленко, рождалось в творческом экстазе, как песня, как молитва.

II.

В. Г. Короленко не сознавал, что он «К о р о л е н к о»: писатель и деятель, имя которого произносят с любовью и гордостью тысячи людей, — то, что называют «знаменитость».

Знаменитость, — стало быть, лицо, имеющее право на творческий досуг, покой, на ревнивое бережение каждой минуты.

Стоит припомнить строй жизни некоторых, не только великих людей, но даже временно исполняющих их должность, — викарных священнослужителей известности. Дом — крепость. Жена — бессменный начальник караула, ответственный за все и всех. Чада и домочадцы — часовые, вооруженные скорострельным оружием лжи и изворотов. У всех одна забота: оберечь всеми средствами от жизненных докук время великого человека. Телефонный звонок. Прежде чем ответить, — дома или нет, обычно начинают разведку: кто да что. Ответ дается в зависимости от того, кто спрашивает, нередко от степени пригодности вопрошающего.

Не то в семье Короленко. Кто бы ни позвонил, ведом или неведом его голос, никогда не спросят: кто? Если к телефону подходили Авдотья Семеновна или Софья Владимировна, сразу слышался низкий, грудной голос той или другой: «Володя (или — папа) — к телефону».

Даже прислугу так вышколили, что ей не приходило в

голову дипломатничать. Двери квартиры Владимира Галактионовича были всегда для всех открыты.

И жена, и обе дочери любили его беззаветно, дорожили его здоровьем, радовались каждой новой главе его литературной работы, но они отлично знали, что Владимира Галактионовича нельзя делить на Короленко, как писатель, Короленко, как общественный д е я т е л ь, и Короленко, как ч е л о в е к. Была полная слиянность, был лишь один, цельный, неделимый Короленко — и малейшее расхождение с самим собою было бы для него не темою для новой литературной работы, а болезненным ударом по смыслу его жизни.

Короленко было безразлично — составят ли его произведения пять или сто томов. Другая у него была забота. Он неутомимо, беспрерывно работал над важнейшим своим произведением — своею жизнью. Несмотря на размеры этого произведения, на множество вводных лиц, на бесчисленные события, — нет в нем ни одной нарочитой, надуманной строки. Всегда и во всем он был равен самому себе. Словно огненным кругом оградил он себя от жизненных соблазнов и через этот круг не могло переступить даже такое частое в общественной жизни явление, как компромисс.

Попав в 1879 г. невинно в административную ссылку, он отказался от принесения верноподданнической присяги восшедшему на престол Александру III. Вот как описывает этот протест Департамент Полиции.

«Порицая распоряжение административной власти относительно высылки его в Вятскую и Пермскую губернии, Короленко заявил, что «законным властям дано опасное право — право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, насколько это право злоупотребляется. Произвол порождает разлад между законным требованием и требованием совести, почему, руководствуясь в данном случае указаниями совести, он отказывается от принятия присяги в существующей форме».

Это было в 1881 году. — Но и через тридцать два года старик поступил с той же гордой упрямкой.

За статью С. Я. Елпатьевского («Люди нашего круга») Короленко, в качестве редактора «Русского Богатства», был привлечен к суду С.-Петербургской судебной палаты по обвиненю в возбуждении классовой вражды (129 ст.). Состав преступления, согласно практики того времени, был налицо.

Между тем я знал, что Короленко прожил весь год в Полтаве и статьи Елпатьевского до появления ее в печати не видал. Я запасся соответствующей справкой адресного стола и спокойно ждал судебного заседания.

За несколько дней до суда я пригласил Влад. Галакт. на совещание и, показав справку, сказал:

— На этот раз буду защищать вас не только без волнения, но со скучающим недоумением. Защита моя проста: без меня меня женили, а я на мельнице был. Вы можете избавить себя даже от присутствия на этом чисто формальном разбирательстве, так как обвиняетесь по такому пункту 129 ст., который не требует личной явки.

Короленко в ответ:

— Ну, нет... Я не считаю себя вправе уклоняться от ответственности по формальным основаниям. Я — редактор; я — и в ответе за все, что печатается в моем журнале.

— Вы и будете в ответе, как редактор, допустивший напечатание статьи по неосмотрительности. За это полагается незначительный штраф, а не крепость до трех лет, которая грозит вам по обвинительному акту. Я понимаю, Владимир Галактионович, ваши чувства, — но за меня правда, а за вас голый принцип.

— Правда то, что я статьи Сергея Яковлевича не читал, но правда и то, что я обязан был ее читать, — значит, читал.

Настал суд. Я и Короленко произнесли речи в защиту статьи Елпатьевского. Судебная Палата долго совещалась: состав судей был совестливый. Вынесли вердикт: две недели заключения в крепости.

Я перенес дело в Сенат. Как апелляционное, оно подлежало пересмотру во всем об'еме. Переговорил перед заседанием с товарищем обер-прокурора, показал ему справку адресного стола. Он согласился, что она меняет дело, — но без пред'явления ее Сенату ничего нельзя сделать: не на что опереться.

В своей обвинительной речи товарищ обер-прокурора вскользь заметил, что, если бы были доказательства, что редактор журнала ознакомился с инкриминируемой статьею по напечатании ее, то он отвечал бы лишь за неосмотрительность.

Я сказал свою безнадежную речь.

Встал Короленко. Не знаю — почуял ли он в речи обвинителя оправдательную нотку, но свое последнее слово он посвятил, главным образом, уверению, что статью Елпатьевского он читал и вполне с нею солидарен. Говорил Короленко с большим под'емом, но с некоторым раздражением, постукивая изящной, небольшой рукой по столу.

Сенат не долго совещался: приговор утвердили.

Мы вышли из зала: я — с понурой головой, Короленко — с видом торжества надо мною.

В глазах его искрился добродушно-лукавый смех: ну, что? Кто кого?

Мне было тяжело вдвойне.

Думал, как думаю и сейчас, что во всяком проигрыше дела виноват защитник. Он где-нибудь да промахнулся: либо при ведении дела, либо при принятии его. Но еще более жгло меня яркое видение, — как больной старик, — для меня святой — мечется, задыхаясь, в каменном мешке Выборгской тюрьмы. Святой... Да, таким он для меня был, таким и остался. Сначала — Короленко; потом — длинный, широкий пустырь; и только за ним, пустырем этим, — другие люди, как бы примечательны они ни были.

Когда, приоткрыв тяжелые парадные двери Сената, я пропустил Короленко и глянул ему вслед, на плечи — уже согбенные и, несмотря на коренастость фигуры, уже беспомощные — меня охватили и боль за него, и досада на него. — Зачем он себя посадил?..

Зная свой темперамент, — если и счастливый для борьбы, то несчастный для повседневщины, — я поспешил проститься, хотя нам было по пути.

Короленко задержал мою руку в своей— и, глянув в глаза, в душу своими правдивыми глазами, участливо спросил:

— Вы сильно огорчены.. Вам тяжело?

— Нисколько... Я рад.

— Чему?

— Рад, что литература отвлекла вас от адвокатуры, о которой вы когда-то мечтали. Радуюсь за тех, кто могли попасть в ваши подзащитные.

Я дал себе слово, что Короленко сидеть не будет. Ухищрениями, ходатайствами, порою — попрошайничеством я оттягивал отбывание наказания. Однако, Короленко нелегко провести. Видя, что приговор не приводится в исполне-

ние несоразмерно долго, он заволновался, стал строить всякие догадки.

Просил он как-то моего содействия относительно применения манифеста 1905 г. к одной из наиболее заслуженных деятельниц политической борьбы. В связи с этим получаю от него письмо (от 6 февраля 1913 г.): «Глубокоуважаемый и дорогой Оскар Осипович».

Плохое начало... Если Владимиру Галактионовичу потребовалось к принятому им эпитету в сношениях со мною прибавить громоздкий «глубокоуважаемый», значит, следует ограничительный акт. Так и есть.

«Написал Вам на-днях просьбу, касающуюся судьбы « одного лица в связи с амнистией. Простите, но у меня яв- « ляется теперь по ассоциации одна идея, вызванная вашим « обычным участием к моим злоключениям. Думаю именно, « что если бы представилась возможность (что, впрочем, « кажется сомнительно вообще) оказать в этом отношении « некоторое влияние и на мою судьбу, то Вы бы, вероятно, « от этого не отказались. Не правда ли? Так вот я хочу « (на всякий случай) убедительнейше просить Вас ни под « каким видом этого не делать. Всякое облегчение, которое « бы последовало не чисто автоматически, т. е. не в поряд- « ке общего приложения манифеста, меня бы глубоко огор- « чило и даже скажу прямо — при моих условиях — оскор- « било бы. И это не вследствие даже необходимости каких « бы то ни было просьб и ходатайств, а просто самым фак- « том какого-либо личного из'ятия по сравнению с другими. « Может быть, все эти предупреждения и излишни. Тогда « простите и вмените сие послание, яко не бывшее».

Не только не просить, но даже не допускать применения к нему каких-либо из'ятий: в этом весь Короленко.

Я его успокоил и все оттягивал обращение приговора к исполнению: в судебной среде существовала тогда (1913 г.) надежда, что в конце февраля или начале марта последует частичная политическая амнистия.

За это время Короленко едва не подвергся новому, еще более серьезному преследованию.

По нескольким тяготевшим над ним обвинениям за статьи Мякотина, Пешехонова и Муйжеля мне посчастливилось добиться пересмотра и отмены Судебной Палатой ее соб-

ственных определений, — кроме, однако, одного, по которому суд представлялся тогда неминуемым.

Я стал осторожно зондировать Короленко — и понял, что надвигается новая беда: он поведет себя так же неумолимо, как и в деле о статье Елпатьевского. Я решился на хитрость. Заявил ему, что сенатская практика изменилась, что теперь в ответе будут не номинальные редакторы, а те, кто действительно редактируют издания, — фактические. Редактировал же инкриминируемую книгу «Русского Богатства не то проф. В. И. Семевский, не то Н. Ф. Анненский (незадолго до возникновения дела умерший).

Я просил Короленко помочь мне разобраться в этом вопросе и пригласил к себе его и В. И. Семевского.

В годы защиты «Русск. Богатства» от атак главного управления по делам печати и прокуратуры мне гораздо труднее бывало сладить с редакцией, нежели с противниками. Разве кто может похвалиться, что ему удалось скомпромиссить Н. Ф. Анненского, А. В. Пешехонова, В. А. Мякотина, П. Ф. Якубовича (Мельшина) и др.? Тем отраднее было чувствовать, что постоянное равенство самим себе, суровая стойкость в борьбе за свои верования сочетались у этих людей с чисто женственной мягкостью к друзьям и трогательной признательностью за малейшую услугу. И когда в юбилейной и — увы! — последней книге «Русск. Богатства» я прочел посвященные мне редакцией — «за себя и за читателей» — теплые строки, мне хотелось ей ответить, но уже негде было: спасибо не мне, а вам за незабываемую радость многолетнего общения.

Продолжаю. Пришли Семевский и Короленко.

Вот как Владимир Галактионович, в письме ко мне (от 10 февраля 1913 г.), описывает свидание, вынудившее его на признание правды факта:

«Старался припомнить как можно точнее наш разговор, « и вот точные, но, все-таки довольно неопределенные ре- « зультаты сего воспоминания. Разговор у Вас начался до « моего прихода. Когда Вы ввели меня в свой кабинет, там « уже был Василий Иванович *), и Вы мне сообщили проект « защиты, уже как готовый результат предыдущего разго- « вора. На мое замечание, что, ведь, это будет иметь вид « валить на мертвого», Василий Иванович воз-

*) Семевский.

« разил, что фактически было именно так: он представил
« цензурные поправки наличной редакции, в лице Николая
« Федоровича *), и у них были даже по поводу некоторых
« мест совещания, кажется по телефону. Вы к этому при-
« бавили, что нельзя же требовать от Василия Ивановича,
« чтобы он выдумывал и говорил не так, как было. Я пред-
« ложил было, действительно, сказать, что взялась за ценз.
« сторону редакция, т. е. официально я (в этом
« роде), но особенно не настаивал, так как понял, что для
« Василия Ивановича создавалось бы таким образом невоз-
« можное положение.

«Вот весь разговор, как я его припоминаю. А почему об
« этом возник вопрос?

«Послал я на-днях в «Р. Ведомости» одну справку по «рит. убийствам». Вы, кажется, «Р. Ведомости» получаете? Относительно дела г-жи В. я совершенно с Вами согласен, и мне нужно было только Ваше компетентное мнение. Иначе чем же успокоить сердце сестер? Особенно одна из них — горячо стремилась к этому, и ей казалось, что есть тут какия-то перспективы. А у меня, ведь, были только общие соображения. Спасибо за убедительный ответ. С надеждами на амнистию конец!»

Короленко на этот раз ошибся: через несколько дней после этого письма последовал указ от 21 февраля об амнистии.

Указ этот порадовал меня за многих, — но, в особенности, за Короленко: спали с плеч давившие меня «две недели».

Чуя ли мои переживания или памятуя мою свирепую оценку его ораторского таланта, Владимир Галактионович поздравил меня с «монаршей милостью» в письме от 16 марта 1917 г.:

«Итак, мои тяжкие и нераскаянные преступления, пред-
« усмотренные 128, 129, 1304 и прочими статьями, ныне мо-
« наршей милостью приведены в забвение. В том числе по-
« шли на смарку и честно заработанные,
« собственными моими ораторскими
« трудами, «две недели». С этими двумя не-
« делями поздравляю себя, а с остальными Вас: монаршая
« милость избавила Вас от неблагодарного труда защищать
« столь преступного суб'екта. Навсегда ли? — Бог знает.
« Во всяком случае, на известное время. И то благо. Спа-
« сибо, дорогой Оскар Осипович. Авдотья Семеновна тоже
« очень благодарит вас за своего столь долговременно под-
« судимого супруга. Желаем столь же успешного хода в
« других, более еще трудных делах».

*) Анненский.

Немецкий поэт сказал, что сердце его центр мира, место сшибки сражающихся сторон, и что каждый удар, который они наносят друг другу, причиняет боль ему. — Короленко не писал и не произносил таких слов, но всегда чувствовал себя в ответе за жестокость, неряшливость и неустроенность русской жизни. И если в 1895 г. он оборвал на полуслове художественную работу над вывезенным из Америки матерьялом и кинулся на защиту чужих ему мултанских вотяков, то только потому, что считал ее одною из очередных глав своего основного произведения. Во всяком случае, творческой энергии, мук претворения мысли и чувства в слово было затрачено на это дело не менее, чем на любое из лучших его литературных произведений.

Не видя еще мултанских вотяков, он силою художественного проникновения уже знал их близко, переживал с ними их беспомощное состояние. Его жгли обошедшие всю печать слова одного из подсудимых при оглашении присяжными заседателями первого обвинительного вердикта. Обращаясь к публике, старик в отчаянии крикнул: «Ходы на базар, пытай людей, может, помогут!»

Надо отвести от этих беспомощных людей неправое страдание, надо оберечь русскую общественную совесть от одного из наиболее тяжких суеверий, — суеверия в области суда. Тщательно изучил Короленко религиозно-нравственные представления вотяцкого народа, его бытовые условия. До мелочи усвоил он судебно-доказательственный матерьял — и принес с собою въ суд свою тонкую впечатлительность, недремлющую тревогу. Весь день в душном зале судебного заседания, а ночь — в бессоннице, в головокружительном метании по комнате.

Стенка между нашими номерами, — рассказывал мне один из его товарищей по защите, — тонкая: только забудешься сном, как замечется, застучит по полу сапогами Короленко... Крикнешь ему: «Владимир Галактионович, спать надо!» —Он растерянно пробормочет извинение, ляжет в постель, а потом — не пройдет и получаса — как начина-

ется быстрое шлепанье по полу босыми ногами. Так вот каждую ночь, до самого конца процесса.

Вряд ли многие знают, как дорого обошлась Короленко телесно и душевно эта защита.

Помню, когда в 1913 г. я просил Короленко разделить со мною труд защиты по делу Бейлиса, Короленко как-то сразу осел, завял.

— Дня через два, — сказал он, — приду с ответом.

Он пришел серьезный, почти печальный и стал раздумчиво об'яснять:

— Нельзя... За эти два дня я измотался. Я почувствовал себя так, будто уже защищаю... Совсем по-мултански... После этого дела я больше года хворал: никак не мог победить бессонницу. Вот уже сколько лет прошло, но когда вспомню судебный зал, растерянно стоящих подсудимых, пережитую борьбу...

И не докончил.

— Стыдно сказать, не могу раскрыть ящик, где лежат бумаги, заметки по этому делу.

В опубликованном теперь впервые рассказе *), где рассыпано много автобиографических черт, художник Алымов жалуется, что вот уже три года, как, захваченный вопиющим судебным делом, он забросил кисть.

В январе 1897 г. Короленко писал брату своему Иллариону Галактионовичу: «Осень 95-го года была вся поглощена составлением отчетов и писаньем статей, и нервным возбуждением, а затем единственный отдых, которым я воспользовался в том году, была опять поездка в Мамадыш на 7½-дневное заседание, в конце которого со мною случилась острая бессонница».

И далее в том же письме: «Бессонница продолжалась долго, я исхудал так, что на меня и теперь ахают знакомые, но чувствовал, что тут лекарства не причем».

Многие, помню, недоумевали: как это одно дело могло так его расшатать? Одно дело!.. Случается же дюжему грузчику в один раз надорваться от чрезмерной тяжести.

И от душевного груза можно надорваться и умаяться однажды — навсегда.

Несколько раз слышал я от Королонко, что он мечтал стать профессиональным защитником и, не располагая

*) Художник Алымов (т. XV полн. посм. собр. соч).

университетским дипломом, хотел записаться в частные поверенные.

— Во мне живет судейский, сказывается наследие отца. Но куда мне с болезненной впечатлительностью сражаться в судах? — закончил он один из таких разговоров.

И все же Короленко не уберегся: он стал защитником вне судебного зала.

Вдали от блеска и красоты судебного состязания, без радостей борьбы, он взял от защиты лишь самое тяжелое: стал хлопотуном и ходатаем за тех, кого могли спасти лишь просьбы и личные влияния. Только те, кто сами прошли тот же путь обидных выстаиваний в приемных, ходатайств, не опирающихся на законе, просьб, связанных с постоянным опасением натолкнуться на раздражительную усталость или грубость, — только те способны понять и оценить всю жертвенность Короленко.

По постоянству отклика на чужую беду, по числу спасенных им от казни он не уступит любому из политических защитников его времени. Но Короленко превосходил всех нас инстинктивным ужасом перед наказанием смертью: мы болели лишь теми делами, которые нам доводилось защищать; он же — всеми, о которых только слышал. Мысленно он сидел на скамье подсудимых со всеми «смертниками», переживал с ними муки ожидания приговора и нередко метался от адвокатов к властям, чтобы спасти тех, на спасение которых все другие потеряли надежду. И когда в одной из статей своих, посвященных проведенным мною в военных судах делам, он слал попутно пожелания — «и Кузнецовым, и Красновым, и Токаревым, и Акимовым, и старому еврею Козлу, если он еще не умер от счастья, и 16-летнему гимназисту Петрову», мало кто помнил и еще меньше знал, что в счастьи большинства из них капли его крови, его пота.

История европейской общественности не знает писателя, который посвятил бы смертной казни такую удивительную, исполненную боли, гнева и любви книгу, как это сделал Короленко своим «Бытовым явлением». Она же, думаю, не назовет другой страны, которая бы, подобно нашей, была способна в день прекраснейшего акта человеческого доверия — отмены смертной казни временным правительством — не вспомнить об этом писателе.

Надо ли добавлять, что большинство защит-ходатайств Короленко завершались успехом, — не столько ради имени

его, сколько силою той любви, которая сильнее упорства мстящих. Да и как не успевать, когда каждым делом, с которым приходилось ему сталкиваться, он болел, как тяжелой болезнью, заражая ею тех, к кому обращался.

Столкнулся он с делом Бейлиса, прилепился к нему всем сердцем, и стал моим сотрудником, вернее, вдохновителем. Это он организовал мощный протест русского общественного мнения; это его воззвание, собрав и сплотив вокруг процесса Бейлиса русских писателей, ученых и общественных деятелей, перекинулось за-границу. Благодаря его влиянию, ученые Франции, Германии и Англии оказали защите бескорыстную помощь своими научными статьями и брошюрами.

Пока шло следствие, — свыше года, — он горел этим делом. Жил он тогда в С.-Петербурге против меня, на углу Кирочной и Преображенской. Редкие дни проходили без его телефонного звонка мне:

— Нет ли чего?

— А не видали ли вы такую-то книгу, брошюру?

— Я получил письмо с любопытными указаниями. Вы свободны, — я сейчас к вам.

Приезжал ли кто-нибудь из киевских товарищей по защите, привозил ли кто из общественников сведения о ходе последствия, Короленко не пропускал ни одного совещания.

Когда он уехал на лето в Полтавщину, редкое его письмо ко мне обходилось без запроса о деле, без указаний, советов, а то просто — ободрения.

Приспело время ехать на защиту. Короленко хотел «послушать» дело, но врачи запретили ему такое длительное волнение. Я написал ему, что выезжаю, и просил прислать отчет по мултанскому делу. Его ответное письмо дошло ко мне уже в Киеве:

«Пишу Вам из глубины своей Полтавщины и не знаю, поспеет ли мое письмо. Вы пишете, что после 20-го уезжаете и вернетесь только к 15-20-му октября. Значит ли это, что Вы едете на дело Бейлиса? У нас тут появились слухи (в том числе в местных газетах), что дело опять, после открытия заседания, будет отложено. Правда ли? Отчета о мултанском деле, собственно, нет. То-есть, нет отчета о последнем разбирательстве, если не считать отчетов газетных, далеко не полных. Я с товарищами составили отчет только о втором разбирательстве. Эта книжечка у меня в Полтаве,

и я ее сейчас никак прислать не могу, потому что сам сижу в глухой деревне, в 27-ми верстах от ближайшей железнодорожной станции. Может быть, дадите адрес, и я Вам пришлю ее через некоторое время. Вообще, — можно ли Вам писать в Киев? Вы туда именно отправляетесь непоср.(едственно) из Петербурга? От души желаю и крепко верю в успех.

«Есть черносотенные брошюры, изданные Поч.(аевской) Лаврой, «об отроке Гаврииле, жидами замученном». Показывают и его мощи в Слуцке. У меня есть некоторые замечания на случай, если бы эти брошюры были представлены суду в качестве доказательства рит.(уальных) убийств».

Итак, ясно: победили врачи — и в Киев Короленко не приедет.

Однако, на третий или на четвертый день процесса с хор судебного зала мне закивала весело его характерная курчавая голова.

Во время ближайшего перерыва мы свиделись. Оказалось, он не один: тут и Авдотья Семеновна, и Софья Владимировна. — Мобилизована вся семья, осталась дома лишь Наталья Владимировна — и то лишь по хворости.

Никто из публики, ни один из журналистов, даже не все защитники могли с ним сравняться в аккуратности посещения судебных заседаний и напряженности слежения за ходом дела.

Я втречался с ним в суде по утрам, куда мы оба забирались спозаранку, во время перерывов получал от него доппинг бодрости и ценные указания, обусловленные его тонкой наблюдательностью. В особенно тяжелые минуты борьбы мои глаза встречали его напряженный, приветливый взгляд.

Вдруг Владимир Галактионович пропал на три дня. Потом об'явился. В чем дело? — Занят был расследованием: почему Бейлиса судит такой, на редкость для Киева, серый состав присяжных? Изучил списки присяжных заседателей по другим отделениям суда, ухитрился исследовать через верных людей списки за последние два года — и пришел к выводу: состав присяжных подобран искусственно.

Через несколько дней появилась в газете обличительная статья Короленко. А дня через три после того газеты напечатали официозное сообщение о возбуждении против Коро-

ленко обвинения в распространении возбуждающих вражду против правительства ложных сведений.

— Выходит по-моему, еще не раз придется вам защищать меня, — смеялся Короленко.

Настал последний решительный день процесса. Короленко, осунувшийся, потемневший, но страстно-сдержанный, рассказал мне с тревогою: накануне он и Авдотья Семеновна толкались долго на базарах; слыхали разговоры, что надо готовить мешки, — как только Бейлиса осудят, можно будет разбивать еврейские лавки.

Он ждал приговора с неменьшей тоскою, нежели я. Не знали мы того, что я узнал после февральской революции из секретных томов производства Департамента Полиции по делу Бейлиса. — Жандармские власти, по соглашению с судебными, поместили в комнату присяжных заседателей переодетого сторожем жандарма.

Мы не подозревали, что прокурор судебной палаты Чаплинский и председатель суда Болдырев могут докатиться до такой низости, — но Короленко своей острой восприимчивостью чувствовал то, что власти знали по секретным сведениям: Бейлис погиб.

Когда присяжные заседатели удалились в свою комнату для постановления решения, Короленко сказал мне: «пахнет трупом»...

С тоскою глядел он на демонстрацию нетерпеливых победителей. — На площади, где помещается суд, началась в Соборе панихида по «умученном» Андрее Ющинском. В мундирах, при шпагах с'езжались туда чиновники — и, помолившись, спешили в суд, чтобы не пропустить торжественной минуты провозглашения вердикта.

Однако, «мужички за себя постояли» — и испортили начальству праздник.

Действительно, совершилось чудо: по предварительному подсчету голосов за осуждение Бейлиса высказалось 7 против пяти, но, когда старшина приступил к окончательному голосованию, один крестьянин поднялся, помолился на икону и решительно заявил: «Не хочу брать греха на душу — не виновен».

Вечером я встретился с Короленко: он радовался, как ребенок. Старый народник, хотя и грозивший не раз «поссориться с меньшим братом», был счастлив не только и не столько за Бейлиса, сколько за то, что еще раз оправдалась его вера в народ *).

Пришла война, а с нею — революция.

Короленко страшился и той, и другой.

Он знал, что в народных массах накопилось столько обиды и злобы, что никакому правительству ни сдержать, ни даже смягчить жестоких вспышек.

Помню, как-то раз, еще задолго до революции, я показал Короленко стихотворение Блока: «Все ли спокойно в народе?»

Нас обоих захватил тогда безнадежный ужас последней строки: «Боже, бежим от суда».

— Убежим ли? — сказал взволнованно Короленко.

Не убежали. Суд и с ним осуждение пришли.

В письме ко мне после февральской революции Короленко писал с тревогою, что все неясно, неверно, — но бодрил себя приметою, что бывает по ранней весне: утро встает дымное, в тумане, а потом постепенно светлеет и сменяется погожим днем.

В последний раз я свиделся с В. Г. Короленко летом 1918 года, в Киеве, куда он приехал хлопотать перед гетманскими властями за арестованного в Полтаве зятя своего К. И. Ляховича.

Короленко любил его особой любовью — встревоженною и нежной.

В этой любви отражалось не только его чувство к дочери и внучке («француженке», как звал ее Короленко за рождение во Франции), но и материнская нежность к обреченному.

К. И. Ляхович болел тяжелой формою порока сердца.

— Врачи, — повторял нередко с грустною улыбкою Короленко, — называют К. И. «поруганием медицины», — не понимают как он живет.

Я свиделся с Владимиром Галактионовичем в тот день, когда, запасшись категорическим обещанием высших гетманских властей освободить его зятя, он уезжал, удовлетворенный поездкою.

---

*) В цитированном уже очерке «Художник Алымов» и в одном из 15 вариантов к нему, озаглавленном «В ссоре с меньшим братом», высчитываются все вины этого «брата», — но они все таковы, что сердце заранее шлет за них отпущение.

И тем не менее все наше свидание было печально. — Короленко подавляла гражданская война.

Зашла речь о начинавшейся тогда тяге за-границу.

— Горько им будет за-границею. Знаю по себе, по своей американской поездке. Сколько раз, не закончив заданий, порывался я бежать домой от душившей меня тоски... Даже в сибирской ссылке, в глухом наслеге я чувствовал себя много счастливее, чем в Америке: все свое, тоска, и та какая-то другая, — не такая сердитая, как там, как будто прирученная.

— Что же вы делаете в гетманской Украине?

— Да то же, что и в царской России: кого выручу, кому пособлю, — а кому, если он уж очень злой, стану поперек дороги.

— А как литературная работа? Пишете ли, наконец, роман?

Короленко усмехнулся и махнул рукою:

— Мои романы без женщин, а без них какой роман. Не до того. Как-то всегда подвертывается работа поважнее.

В этой работе «п о в а ж н е е» сгорел, испепелился громадный художественный талант, не выявив всех заложенных в нем возможностей.

Какая обида! — говорят верные друзья искусства.

Т а к н а д о, — отвечают им д е с я т к и т ы с я ч людей, привыкших в течение многих лет искать ответ на запросы своей совести не только в книгах, но в делах и в личности Короленко, — привыкших сверять биение своего сердца с пульсацией его крови.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ.

«Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. Я славно пожил... Я храбро бился... Я в и д е л н е б о... Т ы н е у в и д и ш ь е г о т а к б л и з к о».
(Максим Горький. Песня о Соколе).

Я узнал Горького в пору его сумасшедшей славы, — той славы, когда герой становится легендою еще при жизни. В славе этой примечательно то, что пришла она быстро, без рекламы и, во всяком случае, без малейшей саморекламы.

Горький — один из немногих русских писателей, проникших в народную толщу и ставших ей близкими: в ней он свой, родной — не по хорошему мил, а по милу хорош.

Во второй половине 1904 года он обратился ко мне с просьбою помочь ему в организации защиты одной провинциальной группы революционных деятелей, а через полгода стал сам моим подзащитным. С тех пор знакомство наше, перешедшее в дружбу, продолжалось много лет. Мои н е п о с р е д с т в е н н ы е впечатления о нем не идут дальше 1917 г. За этой датой была одна встреча за-границею, когда мы вместе просмотрели его письма ко мне и я получил разрешение на их опубликование. Делаю это впервые — и то привожу не все.

Уверен, что понимаю его правильно: всегда он равен самому себе, безо всяких фокусов и чудесных превращений. Трогательна в нем и столь редкая у нас черта признательности за малейшую услугу. Он крепко верует, что заповедь «не укради» относится не только к чужому кошельку, но и к чужим заслугам.

Не знаю — обратили-ли многие внимание на такой характерный факт: собрание своих сочинений Горький посвятил не кому-либо из знаменитых или влиятельных, а скромному нижегородскому присяжному поверенному. За что? — Только за то, что, служа у него писцом, встретил с его стороны доброе внимание и человеческую ласку. Передо мною первый том ш е с т о г о издания сочинений Горького, — но все еще сакраментальная особая страница неизменна: «Александру Ивановичу Ланину М. Горький».

Наивный романтик! Где видано, когда слыхано, чтобы пациент узнавал на людях врача «по секретным болезням»?

Я отметил уже его сумасшедшую славу. Как назвать ее иначе?

Помню (это было летом 1905 г.) рассказ судейца, пожилого холостяка М. П. Шрамченко. — Умный, благожелательный к людям «хохол», он ставил охоту превыше юриспруденции и служебной карьеры, а потому часто отлучался в свое нижегородское имение.

— Ну, Оскар Осипович, — сказал он мне однажды, — скоро придется поздравлять вас с назначением министром юстиции.

— Я предложения еще не получил.

— Погодите, получите. Несколько дней тому назад шатался я с приятелями-крестьянами по лесу. Охота шла не важно — больше болтали, чем стреляли. Вдруг один из них говорит: «Сказывают, скоро позовут нас в Питер царя ставить». — «Вот как!.. А кого хотите в цари?» — «Вестимо, не барина, а своего; Горького». — Ваш клиент, конечно, отблагодарит вас портфелем, — тогда, Офелия, не забудь меня в своих молитвах.

Припоминаю трогательное по наивной тревоге письмо простой женщины из провинции. Оно пришло вскоре по освобождении Горького из Петропавловской крепости, из внимания к обострившемуся легочному процессу. Добрая душа запрашивала меня: как с мокротою Горького, — тонет ли она в воде, или плавает сверху; если тонет, Горький пропал; если плавает сверху, будет жить. Я поспешил ее успокоить: мокрота не тонет, а плавает.

Пригородные поезда для маленьких служилых людей и рабочих станционное начальство называло «Максимками». («Ну, что, Максимка готов?»).

И другой мир, столь далекий и навсегда ему чуждый,

с великим князем Константином Константиновичем во главе, поспешил наградить Горького званием академика.

Правда, Горький недолго побыл в академиках: как только он подвергся административному взысканию за «неблагонадежность», последовало в 1902 г. его исключение. Это слияние литературы с полицией вызвало общее возмущение: академики Короленко и Чехов немедленно подали заявление о сложении с себя звания.

Припоминается первая постановка в С.-Петербурге пьесы «На Дне». По окончании спектакля, был выложен адрес Горькому. — Надо было видеть, какое произошло паломничество для подписания этого адреса: люди разных званий и состояний спешили поставить свое имя.

Пьеса Горького «Дачники» выдержала за полтора месяца 24 постановки. Это установлено точно на суде в Сенате, куда чудная артистка В. Ф. Коммисаржевская пред'явила при моем посредстве иск к и. д. С.-Петербургского градоначальника Вендорфу: 18 января 1905 г. градоначальник снял р а з р е ш е н н ы й накануне спектакль из-за охватившего его опасения — как бы состоявшийся з а н е д е л ю д о т о г о арест Горького не вызвал демонстрации в публике.

Помню бесконечный ряд телеграмм из-за границы на адрес С.-Петербургского совета присяжных поверенных от ученых, писателей и адвокатов. Во всех них одна и та же тревога ,— все по поводу предстоящего суда: уберечь Горького от злобной мстительности властей, дать ему надежного защитника.

Особенно врезалась в память своеобразием редакции телеграмма адвокатуры небольшого итальянского города Трани.

«Председателю Сословия Адвокатов в Петербурге. — Наш совет Сословия Адвокатов выражает, во имя всеобщей гарантии прав защиты пожелание, чтобы права эти не были нарушены по отношению к м ы с л и т е л ю Максиму Горькому. Президент Дасканно».

«Мыслитель»... Это близко к тому, что сказал однажды Горькому Толстой: «Сердце у вас умное» *).

---

*) Кстати. Выражению «умное сердце» повезло необычайно: им воспользовался Толстой, его же употребил в своей пьесе Мережковский. Однако, и тот, и другой забыли упомянуть, что став-

Давала ли Горькому радость эта общая влюбленность?

Вряд ли. Если и радовала, то слабо.

Радость эта пришла, хоть и рано по его годам, но поздно по пережитому.

Исходить в рваных портах и с подведенным от постоянного голода брюхом почти всю русскую землю, — вобрать в себя ее стоны, рабий перепуг, смиренную безнадежность... Неужели только для того, чтобы разменять все это на личный успех? — Нет, это не для Горького.

У кого сердце исколото с ранней юности и неспособно к заживлению, того может спасти лишь непрерывный, напряженный труд или оглушающая своей бескрайностью идея, — то, что Шиллер называл привязыванием своей утлой ладьи к океанскому кораблю.

Ничто другое не спасет.

II.

Вера Горького — **Человек**, церковь его — **Коллектив**.

Однако, человек — не первая его любовь. У Горького короткое время был роман с Богом. Роман этот не удался, но что он был — для меня нет сомнений. Как все, потерпевшие в своей любви тяжелое крушение, он ее схоронил. — Я, мол, от рождения безбожник — и конец: ни с кем на эту тему и разговаривать не желаю.

Конечно, Горкий искал Бога — не через розыскные бюро «религиозно-философских обществ», не путем газетных публикаций, или в лекциях модных болтунов, — тех, кто грешат втихомолку, а каются всенародно... в чужих грехах.

Он искал Бога в смятении отчаявшейся души, ставящей свою последнюю ставку. В юные годы Горький покушался на самоубийство (пуля сидела в нем до конца). Почему покушался? От страха жизни? — Ну, нет, всеми страхами пытала его судьба, — не испугала.

У него был только один страх: чем осмыслить жизнь, как оправдать свое жуткое одиночество в людской толпе.

шее крылатым выражение принадлежит Достоевскому. В письме А. П. Философовой он отметил: «У вас, Анна Павловна, умное сердце». Письмо это, по смерти Достоевского, было напечатано.

Большой талант всегда одинок — в этом страшная плата за избранность.

Надо было наблюдать Горького, когда он сидит в сторонке, уверенный, что никто не подсматривает: он, как-будто, прислушивается к звучащему в нем неумолчно чьему-то голосу. Не знаю, как потом, но в мое время он не умел смеяться. Смеялся он не глазами, не складками лица, а только голосом: словно забрался он в бане на самый высокий полок, хлещет себя без передышки веником и покрякивает: от удовольствия или от боли — не разобрать.

Горький, как почему-то отмечал Толстой, не из пьющих. На что ему вино, когда и без того у него пьяная кровь?

Наперекор всякой логике, Горький, побывавший на самом дне жизни, переживший столько тяжелых и обидных испытаний, которые всякого другого сделали бы не только реалистом, но и грубым материалистом, Горький — романтик, неисправимый романтик.

Да и как иначе? — Нельзя искать веры и социальной справедливости без романтики.

Горький много читал, много знал — и, надо сказать, знал основательно, не как начетчик или верхогляд.

«У меня, — писал он мне с Капри, — более трех тысяч книг, я читаю восемь газет, все журналы».

Это не преувеличение, а точная правда. В письмах его к К. П. Пятницкому, заведывавшему книгоиздательством «Знание», больше требований о присылке тех или иных книг, сборников народного творчества, журналов и газет, чем указаний насчет их дела.

К науке он относился с романтическим почитанием. Характерно: говоря о грубо-нигилистическом отношении Толстого к научному знанию, он восклицает с неподдельным ужасом: «Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера — вот озорник!»

Некоторые ставят Горькому в вину, что он, будто бы, прикидывался большевиком, что он им никогда не был. — Неправда, он был большевиком с первых годов образования партии. Это было известно не только людям, близким к литературе, но и властям. Лично я могу дать следующее свидетельское показание: он обратился ко мне за защитой секретаря Петербургского комитета партии большевиков — Буренина. Дело это (в С.-Петербургской Судебной Палате

с участием сословных представителей) закончилось оправданием. Можно найти отголосок этого дела в письме ко мне Горького от 8-го сентября 1908 г.: «На-днях здесь был Буренин, много говорил о Вас».

Могу привести и следующий факт. — Весной 1909 г., пользуясь страстной и пасхальной неделями, я осуществил свою давнюю мечту — посмотреть Италию. Если вычесть время, потребное на проезд в оба конца, в моем распоряжении оставалось дней 9-10. Конечно, при таком сроке мое ознакомление с Италией свелось к проверке указаний Бедекера: все ли в главных городах на своем месте? Для поездки на Капри не оставалось времени, — тем более, что Капри рисовалось мне, как крохотная пуговка на царственной одежде Италии. Однако, стало совестно: быть в Италии и не повидать старого друга — не хорошо. Приехал я с женою поздним вечером, заехали в гостиницу, а на другой день, в десятом часу утра, отправились к Горькому. Я увидал облупленный снаружи наемный дом, о котором его петербургские «друзья» говорили и писали в газетах, как о роскошной с о б с т в е н н о й вилле. Обижаться на это не приходится: из любви к Горькому они, вероятно, находили, что большому писателю «надо наслаждаться постом и купаться в лишениях».

Обстановка в этой «вилле» была жалкая, а в столовой стоял некрашеный, длинный, на козлах, стол. Накормил он нас — прости ему Бог — не важно. Мы застали «на вилле» много народу: усыновленного Горьким Зиновия Алексеевича (родного брата ставшего впоследствии председателем ВЦИК-а Свердлова), Луначарского, Шаляпина и Малиновского-Богданова (разносторонне образованного, умного философа-социолога, сошедшего почему-то на-нет). После завтрака вышли на террасу. Сначала ребячливый, как все большие таланты, Шаляпин и усыновленный Свердлов ломали Петрушку, изображали выход цирковых борцов. Потом при мне завязался у Горького разговор с Луначарским. Горький говорил о своем плане устроить на Капри школу пропагандистов, причем подсчитывал, во сколько это ему обойдется. Я мрачно слушал и думал: ну, вот, только этого не доставало; насилу вырвались из процесса о «воззвании»; у судебных следователей лежит уйма литературных дел по суровой 129 статье угол. улож., с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, — а тут еще

новая, более опасная затея! — Не скоро Горький увидит Россию.

Обвинение Горького в том, что он «примазался» к большевикам, — злостная ложь.

Что-ж удивительного, что Горький — большевик? Я понимаю: если бы я в 70 лет, не быв никогда социалистом, сделался вдруг большевиком, — это было бы весьма странно. Но Горький... С младых ногтей большевик, виновный лишь в том, что после победы его партии не уехал с нами в эмиграцию.

Возвращаюсь к вопросу о вере Горького. Мое утверждение о том, что он с ранней юности верил в Бога, подтверждает и страница в его повести «Исповедь». Он описывает там крестьянский крестный ход с таким энтузиазмом и глубиною переживания, которых не об'яснить лишь талантом. Должно быть, заныли рубцы давно закрывшейся раны.

Потом его верою, как я уже отметил, стал человек. Вера эта была крепка, и Горький никогда ее не покидал: она проходит через все его творчество. — «Богоподобный Человек», по его вере, может все, — только захоти.

III.

Как всегда бывает после неудачной войны, внешней или внутренней (России в 1904-1906 г. г. пришлось одновременно переживать ту и другую), сдавшие нервы резче всего проявляют себя в области чувственной. Пошли «огарочники», «огарочные вечера», искалечившие жизнь многих женщин — детей. Подняли голову, можно сказать, одерзели писатели-чувственники, с Арцыбашевым во главе: пакостный роман его «Санин», где женщина трактуется, как кобылица, встретил в публике большой успех. Когда был наложен арест на книгу и возбуждено уголовное преследование по статье о порнографии, Арцыбашев обратился ко мне за защитою. Помню его удивление и даже обиженность, когда я ему сказал, что прочел лишь несколько глав его романа, когда он печатался в журнале, и предложил прислать мне, для ознакомления, книжку.

Я немедленно запросил Горького, — как мне быть? Получил от него в ответ удивленное и в то же время удивительное по продуманности и искренности письмо. Вот оно:

«Удивили Вы меня Вашим вопросом — защищать ли Арцыбашева? Мне кажется, что в данном случае — нет во-

проса: на мой взгляд, дело не в том, что некто написал апологию животного начала в человеке, а в том, что глупцы, командующие нами, считают себя в праве судить человека за его мнения, насиловать его свободу мысли, наказывать его — за что? Что такое писатель? Тот или иной строй нервов, так или иначе организуемый давлением психической атмосферы, окружающей его. Человек наших дней мучительно беззащитен от влияния среды, часто враждебной ему, — беззащитен, потому что психически беден, бессилен. Подбор впечатлений, западающих в душу — вместилище опыта, — не зависит от воли Арцыбашева, Тимофеева, Иванова. Тимофеев, быть может, очень целомудренный и чистый парень, но количество и качество воспринятых им наблюдений над действительностью невольно заставили его избрать героем своим Дю-Лю *), и очень возможно, что Санин противен Арцыбашеву не менее, чем мне. Может быть, Санин плохо изображен — но можем ли мы утверждать, что он выдуман?

Вы извините меня за грубое сравнение, но многое в современной литературе похоже на рвоту. Люди отравлены впечатлениями бытия и хворают. У огромного большинства ныне пишущих недостаточно развита, — а у многих и совершенно не развита — способность организма к сопротивлению социальным ядам, проникающим в него. Психика — неустойчивая, всегда колеблющаяся. Прибавьте к этому впечатлительность почти болезненно-повышенную и полное отсутствие того корректива, который способен произвести внутри, в мозгу писателя, работу отбора впечатлений, организации их. Мне кажется, что этот корректив — ощущение мира, как процесса активного, динамического процесса, в котором все временно, только движение вечно. Знаю, есть люди, утверждающие, будто движение это — бессмысленно, оскорбительно для гордости человеческой, — но знаю также, что всего менее истинно человеческой гордости именно у тех, кто о ней говорит часто и громко. А для меня жизнь полна смысла — она великолепнейший процесс накопления психической энергии, — процесс очевидный, неотрицаемый — и, м. б., способный даже мертвую материю превратить в чувствующую и мыслящую.

*) Дю-Лю — герой нашумевшего в ту пору петербургского уголовного процесса о совращении малолетних.

Но — мои взгляды излишни в данном случае, и я извиняюсь, что сбился с линии. Ваш вопрос, повторяю, удивил меня очень — в нем слишком громко звучит для моего уха то печальное разобщение людей, та психическая разбитость, отчужденность, которая и губит стольких в наши боевые дни.

И еще раз извиняюсь, но должен сказать, что мы поступили бы разумнее и красивее, если бы об'единились на защите одного из наших — Арцыбашева, как в данном случае, или кого-либо другого — все равно. Наш враг — пошлость, в которой вязнут наши ноги по колена и которую так усердно и умно разводят в жизни те, кому пошлость необходима, как грязный ров, преграждающий доступ в крепость их.

Процесс против Арцыбашева пошл и нагл, как все эти, так называемые, «литературные процессы».

Пока обернулись наши письма, я успел ознакомиться и с романом «Санин», и с его автором поближе. Арцыбашев оттолкнул меня своим самодовольством и нелепой кичливостью, что он — не русский, а татарин, что не любит России (не любишь — зачем живешь в ней и кушаешь ее хлеб?). Раз, неизвестно для чего, обнажил руку и показал мне замысловатую татуировку.

Я ответил Горькому, что согласиться с ним не могу, что правительство тут не при чем, и вопрос идет не о свободе творчества, а о свободе опубликования всякой пакости, что у меня от последней строчки «Санина» («Он выпрыгнул из вагона навстречу восходящему солнцу») заныли даже вставные зубы. — Прыгать из вагона, на ходу поезда, навстречу восходящему солнцу, ему не было надобности: выпрыгнул же он, как безбилетный (во всех смыслах!) пассажир, заприметивший приближение контроля.

IV.

Нужно остановиться, хоть в немногих строках, на беседах с Горьким.

Первое время я избегал касаться тревожившего тогда совесть русской интеллигенции еврейского вопроса. — Из боязни нарваться на скрытое юдофобство? — Конечно, нет: не на такой линии стоял Горький. Я опасался другого: заверения в юдофильстве.

Из гордости или по какой другой причине я всегда пре-

зирал программное юдофильство, считал его более оскорбительным для себя, нежели юдофобство. Юдофоб что? Либо ленивый глупец, не удосужившийся разобраться в своем предубеждении, либо злопыхатель, ненавидящий людей вообще и проявляющий свою ненависть по линии наименьшего сопротивления. Но с казенным юдофилом беда: говорит о евреях так, как если бы состоял членом «общества покровительства животным». Обычно, я пресекал это медоточивое красноречие небрежным замечанием: стоит ли говорить о такой малости? Нация не гулящая девица, нуждающаяся профессионально в симпатии, — для нации достаточно, чтобы с нею считались и сознавали, что на малейший пинок она ответит увесистой плюхой.

Какое же отношение Горького к еврейскому вопросу? По-моему, самое правильное, — такое же, как у Короленко, Милюкова, Михайловского — он для них не существует: евреи обездолены в правах, — значит, на защиту их должны встать все порядочные люди.

Помню, когда он читал в Куоккале нескольким приятелям свою новую пьесу, я обратил внимание на то место, где герой говорит с ужасом о ком-то — ведь, он антисемит.

Я сказал Горькому: «Лучше выбросьте это место, — не то девки засмеют, не в России попрекать кого-нибудь антисемитизмом, вещь обыденная — «артикль де Сен-Петерсбург» *).

Горький посмотрел на меня с удивлением и не выбросил.

Прав оказался я. — Когда на премьере дошло до этого места, в публике пронесся почтительно-сдержанный, добродушный смешок.

Помню, как Горький рассказывал мне о нижегородском погроме. Прошло около 30 лет, а звук его голоса, выражение лица живут во мне, как если бы это было вчера.

Говорил он тихо, раздумчиво, вглядываясь в даль (мы гуляли), с усилием подавляя волнение: в звуке голоса сливались и боль, и стыд.

Закончил он рассказ потрясающим фактом. — Толпа громила дом, населенный евреями: из нее выделилась кучка, ворвавшаяся в самый дом; из третьего этажа выбросила она

*) Петербургское издельице.

гроб с обряженным для похорон телом еврея. Громилы в ужасе шарахнулись и рассыпались.

— Вот, пойми тут, — добавил Горький, — одна часть толпы не пощадила даже мертвого, а у другой, куда большей, мертвец подавил и злобу, и дикое озорство.

Не менее характерно отношение Горького к женщинам и детям.

Вопрос об отношении к женщине — не маловажный, не только потому, что касается половины рода человеческого, но еще и по той причине, что дает верное мерило мужской совестливости.

Бесчестно прибавлять к грубой несправедливости природы, взвалившей на женщину муки беременности, родов и кормления восьмифунтовых спекулянтиков, еще и социально-правовую несправедливость. В семейной жизни совершенно не важно — кто в чем виноват. Важно только одно: кто больше страдает. За редкими исключениями, более страдает женщина, — значит, она права даже тогда, когда в чем-нибудь и провинилась.

В изображении женщин Горький целомудрен и жалостлив. Он никогда не врывается в спальню женщины; он никогда в своих произведениях не работал на преуспеяние публичных домов. У него не найти ни одной скабрезной страницы. В повести «Мать» он дал трогательный образ женщины, — не самки и не кухонной властительницы.

Пожилые, старозаветные женщины, они из любви к своим детям полюбили их звездные мечты. Полуголодные, вечно встревоженные страхом, что дети не вернутся со сходки домой, они прислушивались ночи напролет, — не раздастся ли на лестнице сладкая музыка дорогих шагов.

Никогда не жаловались, не кляли, не упрекали.

Робкие, стыдливые тени, — отчего о вас так мало сложено песен, отчего так мало рассказано про ваши незримые подвиги?

Народная мудрость с презрительностью провозгласила: «Любовь слепа». — Какая чудовищная нелепость! Я уверен, что эту мудрость провозгласил впервые какой-нибудь содержатель ссудной кассы, промахнувшийся в оценке прельстившего его заклада.

Не слепа любовь: на всей земле одна только она зряча. Только у ней одной острый, верный глаз: она видит то, чего никогда не разглядит равнодушие.

Детей Горький любил безгранично — вероятно, сознавал нашу великую ответственность перед ними и за них.

Горький, конечно, любил прежде всего своего «Максимку», любил не только отцовской, но и материнской любовью, — настороженной и беспокойной. Нередко по ночам брал его в свою постель, теша сказками, чужими и своими, для него придуманными.

Помню забавный рассказ Горького про то, что срезал его однажды «Максимка». — Горький рассказал ему только что придуманную сказку. Глаза у мальчика разгорелись, разгорелось и лицо.

— Понравилась сказка? Хочешь, еще одну расскажу?

А тот, ластясь, в ответ: «Нет, дай-ка лучше двугривенный, хорошую юлу приглядел».

Впоследствии я видел несколько минут Максима Алексеевича у М. Горького за-границею, летом 1922 г.: он уже был женат. Несколько лет тому назад прочел в газете короткое сообщение о смерти его в Москве. С болью почувствовал, какая это для Горького утрата. Сгоряча написал ему, а потом разорвал письмо: незадолго до того я на себе изведал тщету слов утешения.

V.

Перехожу к судебным процессам М. Горького и раз'яснению некоторых мест нашей переписки.

Между 3 и 6 января 1905 г. в обществе и в печати стали циркулировать слухи о том, что священник тюремного ведомства Гапон организует рабочие массы для шествия к Зимнему Дворцу, с целью изложить непосредственно государю свои нужды. Слухи эти стали подтверждаться — и министерство юстиции вызвало Гапона для об'яснений. Гапон подтвердил эти слухи и категорически заявил, что шествие состоится, что оно вполне закономерно, так как между монархом и народом не должно быть никаких средостений.

Общественные круги стали волноваться, опасаясь напрасного кровопролития. В ночь с 8-го на 9-ое января сорганизовалась делегация из крупных общественных и политических деятелей, которая отправилась к министру Святополк-Мирскому, статс-секретарю Витте и генерал-майору Рыдзевскому, как заведывающему полицией. (В делегацию эту вошли, кроме Горького, И. В. Гессен, проф. Кареев,

А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, Е. И. Кедрин, проф. В. И. Семевский, Н. Н. Шнитников и Иванчин-Писарев).

Результат их хлопот сказался только в том, что государь с семьею выбыл в Царское Село, и были призваны крупные воинские части, которым был отдан приказ действовать без всякого снисхождения оружием.

Настало утро 9-го января. Началось шествие рабочих масс в несколько тысяч человек с иконами, хоругвями и портретами государя. Как только толпа эта стала переходить Троицкий мост, ее встретили ружейным огнем. Стали падать старики, женщины, дети, не говоря уже о рабочей молодежи.

Самодержавие дало народу решительный урок. Однако, этим уроком оно нанесло себе смертельный удар. По мне, внешнюю историю обеих наших революций (1905 и 1917 г. г.) надо начинать с 9 января 1905 г., когда бездушие самодержавия разбудило гнев незлобивых дотоле ягнят.

Делегация сочла себя обязанною дать стране отчет в виде соответствующего воззвания. Составление его было поручено М. Горькому.

Во время полицейских обысков проект воззвания Горького был найден у одного из членов делегации. Все делегаты были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Однако, через короткое время они были освобождены, — за исключением одного лишь Горького, которому было пред'явлено судебное обвинение за составление им проекта воззвания.

Обвинительная формула гласила: «Нижегородский цеховой А. М. Пешков, 35 лет, обвиняется в том, что 9-го января 1905 г. в С.-Петербурге составил с целью распространения, воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего в государстве строя, причем распространение не последовало по обстоятельствам, от воли Пешкова не зависящим»

Ознакомившись с обвинительным актом, я убедился, что прокуратура Судебной Палаты, действовавшая под руководством министра юстиции, впала в грубую юридическую ошибку, обусловленную недостаточным знакомством с введенным незадолго до того частично новым уголовным уложением. Не стану утруждать читателей — не юристов — моими юридическими соображениями. Ограничусь указанием, что новое уголовное уложение допускало наказуемость приготовления лишь в особых случаях, в законе указанных.

Между тем, преступление, вменявшееся в вину Горькому, под эту категорию не подходило.

Воспользовавшись правом подачи прошения о вызове свидетелей, я в него включил все обстоятельства дела, всю юридическую аргументацию и привел целиком воззвание Горького. Копию прошения я передал представителям печати, и оно появилось в газетах на другой день, по подаче его в Судебную Палату.

Министерство и прокуратура не могли не понять своей ошибки, когда она была демонстрирована. Однако, между сознанием своей ошибки и признанием ее — огромная дистанция.

Отступление для Судебной Палаты было тем более трудно, что о назначении слушания дела Горького на 3 мая 1905 г. было уже оповещено официально, вывешено об'явление и на воротах суда.

Стали бегать в министерство. Созвали общее собрание Судебной Палаты — и надумали следующий наивный выход: назначение дела к слушанию отменить, обратить дело к предварительному следствию... для допроса указанных присяжным поверенным Грузенбергом свидетелей (все они проживали в С.-Петербурге, — значит, явка их на суд была обязательна и тем самым было явно излишне предварительное следствие).

Дело пролежало у судебного следователя без движения несколько месяцев и было ликвидировано подведением под один из манифестов об амнистии.

По присущей мне в ту пору драчливости я не хотел дать амнистию министерству и написал Горькому: не отказаться ли нам от амнистии и не потребовать ли слушания дела («весело бить вас, медведи почтенные»). Горький ответил мне следующим письмом:

«Думаю, что теперь уже не стоит мне вступать в «прю» с прокурорами — дадим им амнистию и да исчезнут. А здоровье мое неприятно. Был большой плеврит. Вот уже месяц сижу дома с компрессами, мушками и прочими неудобствами. Кожа раздражена, нервы того больше. Зол, как чорт. Думаю, скоро доктор выпустит на волю, тогда приеду в Питер и увижу Вас».

Горький поднес мне свой экземпляр пятитомного собрания сочинений в переплетах редкого изящества, — на внутренней стороне каждой крышки помещена художественная

инкрустация из мелких разноцветных кусочков кожи. Одна из этих инкрустаций воспроизводит даже картину Беклина «Остров Мертвых». Горький дорожил этим экземпляром, так как на эту работу потратил много месяцев спасавшийся в Крыму от смерти чахоточный переплетчик-любитель. Особенно тронули меня посвящение и стихи. Не знаю, вошли ли куда эти стихи впоследствии:

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы одни...
Но мы в ней будущего зерна,
Мы в ней грядущего огни.

Мы честно служим в светлом храме
Свободы, Правды, Красоты
Затем, чтобы гордыми орлами
Слепые выросли кроты.

Несколько слов о повести Горького «Мать», — конечно, только о прохождении ею административных и судебных мытарств. Не успела эта повесть увидеть свет, как на нее наложен был цензурою арест, подтвержденный немедленно определением Судебной Палаты, с привлечением Горького в качестве обвиняемого. Жаль было хорошей книги.

Я отправился в Главное Управление по делам печати, к шефу этого управления, сенатору Бельгарду, мне дотоле незнакомому. Я встретил с его стороны внимательный прием. Изложил ему свой взгляд на эту книгу, как на хорошую и отнюдь не подходящую под уголовный закон. Бельгард ответил, что он книги не видал, так как наложением ареста ведает Цензурный Комитет, а не Главное Управление по делам печати. Обещал ознакомиться с книгою лично и, если мой отзыв о ней подтвердится, — то, конечно, не станет губить ее. При мне он распорядился о доставлении ему повести на дом. Я зашел к Бельгарду дня через три, и он обрадовал меня словами: «Я уже отдал распоряжение Цензурному Комитету освободить книгу». Опираясь на это, удалось прекратить и возбужденное судебное преследование.

В ответ на мое сообщение, я получил от Горького из Италии следующее письмо:

«Примите сердечное, искреннейшее спасибо. Я думаю, что «Мать» — по тону ее — вещь современная, и, может быть, десяток-другой людей, прочитав эту вещь — вздох-

нут полегче. Мне хотелось бы, чтобы такие люди — если они улыбнутся — знали о вашей доброй помощи им в то тяжкое время, когда всем живется грустно. Проще говоря — моя задача поддержать падающий дух сопротивления темным и враждебным силам жизни, и Вы помогли мне осуществить это. Я высоко ценю Вашу помощь. Крепко, дружески и благодарно жму Вашу руку».

VI.

Я находил, что затянувшееся вследствие обострения туберкулеза пребывание Горького за-границей тяжело отражается и на его заслуженной репутации, и на творческом процессе. — Уехать надолго, развязать злопыхательство.

Затем, и другое, еще более важное. Беллетристу нельзя долго оставаться вне родины: как бы ни был велик запас его впечатлений и сведений о родной стране, они никогда не заменят трения друг о друга боками. Я настойчиво стал звать его домой.

Сначала Горький согласился со мной.—он написал мне:

«Спасибо за Ваше доброе письмо и любезную Вашу готовность помочь мне в делах моих. В Россию ехать я решил, но еще не знаю, когда сделаю это, ибо обременен делами разными, которые необходимо закончить здесь, и не совсем хорошо чувствую себя — кашель одолел. Необходимо поправиться, чем и занимаюсь усердно. Возможность суда и прочих неприятностей нимало не стесняет меня — да и раньше не стесняла, — но хочется приехать здоровым, бодрым. Думаю, что скоро все-таки увидимся, и я крепко пожму Вашу руку — с большой радостью увижу Вас».

Однако, через несколько месяцев он передумал и написал мне большое искреннее письмо. Оно не уступает лучшим страницам его литературных произведений. В смысле же биографическом это письмо дает очень много для уразумения характера и жизни Горького.

Опуская вступительную часть письма, как чисто деловую, я приведу из него большую выписку.—Это необходимо.

«...Позвольте мне принести мою искреннейшую благо-
« дарность за Ваше доброе ко мне отношение — я его очень
« высоко ценю, и оно меня искренне трогает. Вы спрашиваете,
« почему я не пишу Вам о себе, о своих переживаниях. —
« Причин, по крайней мере, три: как я мог знать, что мои
« «переживания» интересны Вам? Я не умею говорить и пи-

сать о себе без того, чтобы после каждой фразы не поду-
« мать — это не так сказано, не так написано. И, наконец,
« не считаю я себя вправе занимать внимание других, —
« а тем более такого работника, как Вы, своими личными
« делами.

«Живу я интересно: мне кажется, что интересно жить
« — моя привычка, привычка, самой природой данная мне.
« Вижу много чудесных людей, часто увлекаюсь ими, иногда
« наступают разочарования — тоскую и— снова увлекаюсь,
« как женщина. Все больше и больше люблю Италию —
« страну великих людей, прекрасных сказок, страшных ле-
« генд, землю праздничную, благодатную, добрую к людям,
« люблю ее с тоской, с завистью и верю, что она медленно,
« но неуклонно шествует к новому Возрождению. Вот —
« только что был во Флоренции, Пизе, Лукке, Сиене и ма-
« леньких городах Тосканы — благоговейно восхищался бо-
« гатствами прошлого и, наблюдая дружную работу насто-
« ящего, думал о родных Кологривах, Арзамасах, о Поше-
« хонье и других городах несчастной, ленивой, шаткой ро-
« дины.

«Вы пишете: «Мне кажется, Вам стало скучно». Жить
« не скучно, но невыносимо тягостно думать о России, чи-
« тать русские газеты, журналы, книги, безумно больно и
« обидно видеть, как мои духовно-нищие соотечественники
« рядятся в яркие отрепья чужих слов, чужих идей, стара-
« ясь прикрыть свою печальную бедность, свое духовное
« уродство, свое бессилие и жалобную слабость духа.

«Четыре года длится маскарад побежденных, четыре
« года недобитые люди, скрывая друг от друга свои раны и
« боли, притворяются веселыми людьми и, скрывая опухо-
« ли от пощечин, без числа полученных ими, надувают
« щеки и — свистят, вот-де, какие мы веселые, вот какие
« беззаботные. Видеть это тяжко до бешенства. Но, разу-
« меется, я знаю, что не все плохо, скажу даже, что я знаю
« это, как мне кажется, лучше многих, живущих на родине.
« Самообман? Нет, Оскар Осипович, обильная корреспон-
« денция из всех щелей и ям России. Я глубоко Вам благо-
« дарен за предложение Ваше похлопотать о моем возвра-
« щении. Я уверен, что это Вам несомненно удалось бы, но
« —не надо.

«Мне полезно побыть здесь, мне надо многому учиться
« и я, понемножку, учусь. У меня более трех тысяч книг,



« я читаю восемь газет, все журналы и не чувствую себя « оторванным от родины. Около меня — хорошие люди, мое « уважение к человеку не падает, а растет, принимая все « более ясные формы. Нет, в Россию мне рано возвращать- « ся. А если бы я этого хотел, или если бы считал нужным « для чего-нибудь, — я вернулся бы в Иркутск, Архан- « гельск, в тюрьму, если это угодно жалчайшему и бездар- « нейшему из правительств европейских. У меня много за- « дач, может быть они мелки, но — это м о и задачи, « и я их должен решить. Верю в себя, верю, что моя рабо- « та полезна, а где работать — все равно. Я слишком рус- « ский, хорошо заряжен с юности и пороха у меня хватит « надолго. Пусть могильщики зарывают меня живьем в « землю, я все до последнего дня буду говорить то, что счи- « таю нужным. И, наконец, важно не то, как относятся « люди ко мне, а только, как я отношусь к людям.

«Добрая и милая мысль хлопотать о моем возвращении « в Россию внушена Вам, вероятно, странной газетной за- « меткой о моей, якобы, тоске по родине и о предпринятых « мною шагах к возврату в Россию. Это выдумка: я, само « собою разумеется, никаких шагов не предпринимал».

Тридцать пять лет, как имя Горького у всех на устах.

Тридцать пять нетерпеливых лет, сметавших не только отжившее, но даже едва пошатнувшееся.

А Горький уцелел. — Одним очарованием таланта этого не об'яснить.

В чем же тайна его исключительного по долголетию влияния?

Не в том ли, что он был неизменным певцом обойденных несправедливым социальным укладом, по настоящему еще не живших?

Певец тех, не знавших радости, миллионов, которых матери рожали в таких же муках и тревожной надежде на счастье, как нас, уходящих, рожали наши.

СИЛУЭТЫ

I.

ОБ А. Ф. КОНИ.

Чем будет русское судебное слово? Пойдет ли оно по пути французского ложного пафоса? Ударится ли в немецкий дробный счет улик? Или пойдет своим путем?

Так спрашивал в 1866 году в своей первой печатной работе (в «Журнале Министерства Юстиции») только что сошедший с университетской скамьи, неведомый юноша.

Не прошло 20 лет — и имя это — Кони — стало гордостью сначала русской судебной семьи, а потом и всей России.

В стране, где, по выражению Аксакова, *было слышно лишь молчание*, с первых же годов судебной реформы были даны такие образцы судебного слова, что им может позавидовать красноречие любого из западно-европейских народов, творивших и пестовавших его сотни лет.

Русское судебное слово пошло не по чужому пути, а по своему, — тому пути, который был проложен родной литературою, предуказан основными свойствами народной стихии. Долго немотствовавшее изустное слово зазвучало по-русски: сразу пришли мастера, один другого краше, искуснее, мощнее.

Судебная реформа 1864 г. беспримерна по великодушному доверию к народным массам. Отдать в руки вчерашних (буквально) рабов, сплошь неграмотных, темнее ночи темных, дело правосудия, вверить их разуму и совести все, что есть самого дорогого для человека, — свободу и честь — на такой шаг могли отважиться только творцы судебных уставов. И они не обманулись в своем порыве: русский суд присяжных себя оправдал, — и работа совести темного мужика не раз развязывала спутанную бюрократическими ухищрениями нить, давая надолго урок искушенным не только знанием, но и лукавством носителям власти и закона.

И мало кто умел говорить с ними так, как это делал Кони и тысячи его учеников — в прокуратуре, адвокатуре и в рядах руководителей судебных заседаний.

Те, кто слыхали или только читали речи Кони, вряд ли забудут их.

Оне захватывают и влекут за собою с такой силой, что пропадает охота к расценке слов, их обслуживающих. Не можешь, да и не хочешь поставить на их место другие. Слова эти не приблизительные, не исполняющие, как у многих ораторов, лишь должность настоящих, а как раз те самые, какие нужно.

Без сыска и выемки из чужих достатков, любовно и покорно приходили они к нему на послугу, чтобы обхватить плотно его сильную мысль, чтоб отразить все оттенки его взволнованного и волнующего чувства.

Личный недруг и притязательный соперник министр Н. В. Муравьев писал по поводу сборника коневских речей: ими нельзя не восхищаться, по ним надо учиться, но подражать им невозможно. Однако, не в одном мастерстве словесной техники заслуга Кони, и не в ней оправдание его широкой популярности.

Россию словом не опутаешь. Нигде, как у нас, не жили в таком разладе слово и дело.

А. Ф. Кони в своей деятельности сумел слить эти трудно сочетаемые элементы. В прокурорское служение он внес вдумчивость и беспристрастие судьи: из-за обложки дела перед ним вставал надорванный жизненными невзгодами человек. Обвиняя, он помнил, что правосудию присуща одна страшная и вряд ли когда поправимая черта: за преступный эпизод, иногда мгновенный, карается весь человек, калечится вся его жизнь. Не по дряблости натуры русский присяжный заседатель иногда отвечал на доказанное обвинение оправданием: он страшился в тех случаях обратить государственное наказание — в преступление.

Кони умел отличать преступление — от несчастья, навет — от правды и не считал себя обвинителем во что бы то ни стало, а «говорящим судьею», освещающим судьям пройденный его совестью путь. Эта основная черта его ораторского таланта выделилась еще с большею силой, когда он занял в суде председательское кресло. Его напутственное слово присяжным заседателям было и осталось непревзойденным образцом этого труднейшего рода судебной работы. Труднейшего потому, что едва возможно сохранить беспристрастие. Вот почему французский закон, под напором науки и публицистики, счел необходимым отнять у

председателей судебных заседаний их право на заключительное слово.

На своем председательском посту бережным отношением к интересам подсудимаго, стремлением воссоздать на суде жизненную обстановку, приведшую его к столкновению с законом, Кони сломал свою служебную карьеру.

Единственный в России политический процесс с присяжными заседателями — процесс Веры Засулич (1878 г.) — закончился скандальным для правительства оправдательным приговором. Кони дал защите возможность раздвинуть рамки судебного следствия, поставить в центре исследования вопрос о бесправии политических заключенных, — о том бесправии, которым только и может быть об'яснено произведенное петербургским обер-полицеймейстером Треповым жестокое издевательство над политическим арестантом Боголюбовым-Емельяновым (сечение!).

Провал дела был приписан Кони — и его перевели с боевого поста криминалиста в цивилисты.

Быть может, этому крушению служебной карьеры Кони русское общество обязано пробуждением его литературного таланта.

Первые его литературные попытки — весьма удачные — относятся, как я уже заметил, к 1866 году, но затем, в течение 13 лет Кони не дал ни одной статьи, ни малейшей заметки. Он, повидимому, целиком был захвачен творческим процессом своих судебных речей.

Насильственный отрыв от любимого дела толкнул его к литературе. Одна за другою стали появляться в журналах его статьи. Наиболее примечательная из них за первые два года отхода его от суда (1879-1881 г. г.) — переработанная из произнесенной им речи в заседании С.-Петербургского юридического общества статья «Достоевский, как криминалист». Она показала, какие значительные литературно-художественные возможности заложены в этом, казалось бы, чисто судебном деятеле. Переход в Сенат, где на него были возложены обязанности обер-прокурора уголовного кассационного департамента, связан с целой полосою его государственно-общественного служения.

На далекой от жизненных тревог высоте кассационного разбирательства он сумел через груду фактов, через вороха статей закона пропустить искру истинного вдохновения,

внести принципиальность в противоречивую, зачастую случайную практику Сената.

В исполненных твердости и спокойного достоинства заключениях он требовал и добивался законности там, где ей труднее всего было найти место: в делах — об административном произволе, о преступлениях религиозных, в особенности, старообрядческих, раскольничьих, пасторских.

В эпоху наибольшей реакции не только у нас, но и во всей Европе, в эпоху борьбы по делу Дрейфуса, когда свидетели-генералы, прячась за служебную тайну, отказывались отвечать на вопросы суда, А. Ф. Кони провел в Сенате решение исторической ценности. Под неотразимым воздействием его заключения, Сенат по делу редактора московской газеты Казецкого признал, что суду в его поисках истины не должна преграждать путь пресловутая служебная тайна. Когда Кони был лишен обер-прокурорства, он даже в качестве рядового сенатора, сумел обратить свои доклады в художественные произведения: до такой степени сосредоточенная мысль сливалась со стройной красотою изложения. Помню, с какою теплотою отзывался В. Г. Короленко о появившемся в печати докладе Кони по делу о мнимом человеческом жертвоприношении вотяков села Мултанова. Кони не напрасно настоял на кассации обвинительного приговора: при новом рассмотрении дела, когда одним из защитников выступил Короленко, все мултановцы были оправданы.

Параллельно с судебной деятельностью идут, разрастаясь в глубь и ширь, литературные его работы. А. Ф. Кони оказался одним из лучших, если не лучшим, русским биографом-портретистом.

Под его мастерским пером стройно проходят дорогие всем нам облики Кавелина, Грановского, Ровинского, Арцимовича, Буцковского, С. И. Зарудного, Чичерина, Спасовича, Достоевского, Одоевского, В. С. Соловьева и мн. др. С нестынущей любовью и тщательностью выписан портрет истинного человеколюбца — тюремного врача Ф. П. Гааза. Лекциями, статьями, докладами он добился своего: русское общество канонизировало Гааза.

Яркий литературный талант Кони был быстро оценен в мире ученых и литераторов. Этой оценке он был обязан званием почетного академика. Дружно расступилась, чтобы дать ему место в своей среде, академическая семья. В первый свой светлый праздник — столетие со дня рождения Пушкина — обратилась к Кони с просьбой приветствовать в торжественном публичном собрании Академии Наук память поэта. Речь Кони «Общественные взгляды Пушина» — привлекла к нему симпатии широких общественных кругов.

Пришла Февральская революция. А. Ф. Кони принял ее нелицемерно-радостно. Семидесятитрехлетний старик (впрочем, к Кони это слово никогда не было применимо) не уклонился от предложения министра юстиции временного правительства стать во главе уголовного кассационного департамента Сената и принять участие в трудах комиссии по переработке судебных уставов.

И в должности первоприсутствующего, и в качестве председателя комиссии, он проявил работоспособность изумительную. Не упомню случая пропуска им заседания хотя бы по одной из этих должностей. В Сенате он работал в три раза больше рядового сенатора, являясь туда в дни заседаний не только департаментских, но и каждого из отделений. И тогда уже он приходил к нам, подпираясь двумя палками.

Октябрьская революция с ее тяжелыми жизненными условиями не сломила его духа. Он не озлобился, не отошел от работы. С энергией впору юности Кони отдается с 1918 года педагогической деятельности. Читает регулярные курсы лекций в I и II петербургских университетах, а также и в институте кооперативов, где излагает обширный курс «Этики общежития» (этики: судебная, врачебная, экономическая, литературная, художественная, этика воспитания и личного поведения). В Институте Живого Слова он преподает учение об ораторском искусстве.

Одновременно читает отдельные лекции по общественным вопросам, по психологии, делится воспоминаниями о людях и событиях. В Доме Литераторов, в Доме Ученых, в Доме Искусства, в Медицинской Академии, в Политехническом Институте, — всюду раздается его бодрое слово.

По званию почетного члена Академии Наук он произносит по ее поручению речи в торжественных заседаниях, посвященных Тургеневу — в столетие его рождения (в 1918 г.), Пушкину — в 125-летие его рождения (1924 г.). Нередко читает он свои воспоминания и в музее городов, музее театров, в разных бывших гимназиях и общественных библиотеках. В 1918 г. он основывает Тургеневское

Общество. Председательствует и делает доклады до 1922 г., когда оживленная деятельность общества прерывается за недостатком средств и смертью наиболее деятельных сотрудников (Венгерова, Полякова и др.).

Мало того, в 1923 и в 1924 г. г. Кони ездил для чтения публичных лекций в Москву. Все время он в непрерывном общении с молодежью, знает ее близко — и вот его отзыв о советской молодежи.

«Учащаяся молодежь, — отмечает он в письме ко мне, — своим бескорыстным стремлением к знанию и своей вдумчивостью внушает мне искреннюю симпатию; особую способность и чуткость проявляют слушательницы, уделяя время на посещение лекций от своих, иногда очень тяжелых трудов».

Среди этих непрерывных лекторских работ у Кони сыскалось время издать об'емистые 3 и 4 томы «На жизненном пути», куда вошло много нового, написать и выпустить в Москве и Петербурге отдельные книжки «Петербург по воспоминаниям старожила» (свод лекций, читанных в Обществе «Старый Петербург»), «Отрывочные воспоминания о Витте», «О самоубийстве в законе и жизни», «Психологический этюд о памяти и внимании», а также брошюры, посвященные памяти Чехова и Голубева.

Готовы были к печати его воспоминания о деле В. Засулич.

К этому перечню надо прибавить около 20 статей, помещенных за последние семь лет в журналах и разных сборниках.

Удивительно ли, что восьмидесятилетие рождения Кони (10 февр. 1924 года) об'единило вокруг него в теплом порыве всю русскую науку и литературу?

Из многочисленных приветствий русских ученых и литературных обществ, быть может, самое ценное то, которое было выражено Академией Наук. В нем нашло место авторитетное удостоверение его высоких заслуг в деле совершенствования русской художественной речи: как в вышедших уже, так и заготовленных для печати выпусках академического словаря везде, где требовались образцы русского языка, приведены выдержки из произведений Кони. Это роднит его с вечностью, ибо русская речь и ее изучение никогда не умрут.

Здоровье и силы Кони таяли среди этой кипучей работы с каждым часом.

Но он этого не замечал, вернее, — не хотел замечать.

Дни мелькали за любимой работой, — но ночи, эти длинные бессонные ночи... Как они были мучительны!

Кони писал мне: «Дурно сплю и часто страдаю болезненным сжатием сердца. Тем не менее, стараюсь по возможности приносить посильную пользу покудова не грянет последний час, которого жду без страха и малодушного уныния, памятуя слова Марка Аврелия о том, что самый постыдный вид жалости есть жалость к самому себе».

Кони никогда не знал этого позора: он был к себе безжалостен. Работа, работа! Она одна никогда не обманывает. Работа, — а сердце сжималось все болезненнее. Мучительные ночи без сна выпадали все чаще, — пока 17 сентября 1927 года не слился с Вечною Ночью.

II.

ОБ А. С. ЗАРУДНОМ.

Последнее сведение о Зарудном сообщила мне, в письме от 22 ноября 1923 года, вдова Вл. Галактионовича Короленко — Евдокия Семеновна.

«...Был здесь Зарудный; он в Полтаве читал лекцию о своих подзащитных по политическим делам, излагал свои взгляды на интеллигенцию за 40 лет. Говорили мне, что лекция была хорошая, стоящая послушать, но народу было не очень много, потому что незадолго перед его лекцией были еще две — двух насвистанных чижиков... и... Как раз, когда было в газетах об их лекциях, то было упомянуто тоже и про лекции Зарудного; многие даже думали, что эти люди одной марки и приедут вместе. Так как лекции первых двух были ниже всякой критики (это я со слов слышавших), то многие и не пошли на Зарудного. Вторая была у Зарудного про дело Бейлиса: как раз перед нею пришел ко мне. Мы с ним хорошо поговорили о многом, он очень постарел, почти белый, но хороший. Он очень обрадовался, когда я ему сообщила, что получила от вас открытки, попросил у меня адрес ваш и списал его, хотел написать».

Я прочел это письмо и разволновался. Зарудный очень

обрадовался, хочет мне написать — ну, нет, я его опережу. Вечером засел за письмо, написал несколько почтовых листов. Утром прочел написанное — и изорвал: с близким человеком надо говорить грудным голосом, а не вороватым фальцетом безголосого тенора. Говорить грудным голосом теперь нельзя; я не сторонник переложения груза невеселых переживаний на друзей.

Не написал Зарудному я, — не написал, конечно, и он мне. Разгорелся, должно быть, на несколько часов — и потух: нечего таскаться по кладбищу полузабытых снов.

За что мы, товарищи, ценили и крепко любили Зарудного? — Значительный период его жизни принадлежит, ведь, не нам, адвокатам и общественникам.

Окончив Училище Правоведения и прошедши в С.-Петербургском окружном суде установленный канцелярский стаж, Зарудный был назначен товарищем прокурора. Видимо эта должность была ему не по душе, и он перешел в члены новооткрывшегося Петрозаводского Окружного Суда (без участия присяжных заседателей). Судил он там, как гуманный, доброжелательный судья, — но все же вынужден был судить, не отрываясь от каботажного плавания вдоль тесных берегов «Уложения о наказаниях». Это было ему в тягость, — склонностью к социальной хирургии природа его не наделила.

Спустя несколько месяцев после оставления им службы в Петрозаводске, председатель того суда И. И. Солертинский — редкий умница и чуткий отгадчик чужих переживаний — говорил мне: «Рад, что удалось убедить А. С. бросить судебную службу, — она его явно удручала; где ему, с его святостью и болезненной нервной организацией, творить нашу суровую повинность — он прирожденный защитник, и его место в адвокатской вольнице».

Осенью 1902 года Зарудный вступил в петербургскую адвокатуру. Тут вскоре обнаружилось и развернулось его истинное призвание. Выделиться в то время в Петербурге начинающему уголовному защитнику было нелегко: еще не отгремели имена Потехина, Пассовера, Андреевского, Миронова, Карабчевского, Бобрищева-Пушкина (отца), а из молодых — Переверзева, Гольдштейна и некоторых других.

В криминалистике нельзя играть на мелок и успокоиться даже с приобретением звания «знаменитости». Там каждый раз начинай сначала, состязайся не только с другими,

но, с течением времени, и с самим собою — не то последует беспощадный приговор: был скаковой конь, а теперь потная лошадь.

Между тем, Зарудный занял сразу место в первом ряду. Словно его дожидалось вакантное кресло — и быстрый успех его никого не удивил и не растревожил ничьей зависти.

В России, где исстари хоровое начало было более в почете, нежели сольное, Зарудный выделился именно своей индивидуальностью — упрямой и несгибающейся. Он был честен с самим собою (наиболее трудный вид честности), свободен от самообмана (самая опасная форма обмана, ибо в одном лице сливаются и обманщик, и обманываемый) — он брался лишь за то, что умел и любил делать.

В каждое дело он в'едался так, как если бы от исхода его зависела судьба всего человечества. К уголовным защитам его не влекло, — он весь ушел в политические, общественные и, частью, литературные защиты. Он исколесил всю Россию, забираясь в самые отдаленные ее уголки: сегодня в Сибири, а через неделю-другую на Кавказе. Словно «карета скорой помощи», носился он по слякоти и бездорожью политической юстиции. Где же тут до ораторского жиру — быть бы живу. Между тем, оратор был он превосходный, Божьей милостью, а не сыском по чужим, хорошо забытым книгам и сборникам. Диапазон его ораторских возможностей был широк, но неровен: Зарудному случалось трепыхаться по земле, но нередко он подымался на такую высоту, которая впору только орлам. Отсюда разнобой в оценке его сил: те, которым не довелось слышать его орлиного клекота, не знали подлинного Зарудного. Брал не формою, не литературщиной: теория словесности относит судебное красноречие к категории произведений художественных, — однако, это наивная ошибка. Не может быть художественным то, что в корне своем односторонне и тенденциозно. Судебная речь напоминает, до некоторой степени, работу и с т о р и к а, воссоздающего по уцелевшим обрывкам, по случайным обломкам то, что уже отошло: столкновение отдельной воли с велением уголовного закона. Как не выкроить из историка — например, Ключевского, при всей яркости и образности его языка, — художника слова, так невозможно требовать и от судебного оратора стихотворения в прозе. Но поскольку в ораторе ценны своеобразная мысль

и искреннее слово, — то слово, что, идя от сердца, находить дорогу к чужому сердцу, Зарудный был оратором.

Особенно удавались ему речи в защиту женщин. В них была подлинная любовь и нежность. Однако, рисовал он их по-тургеневски, т. е. сочинял. Зарудный поочередно влюблялся (это точное слово) в своих подзащитных женщин, ходил к ним в тюрьму, как на любовное свиданье, и с артистичностью природного контрабандиста, приносил им цветы, конфеты и разные безделушки. Словом, любовное свиданье под наблюдением тюремных надзирателей.

Когда мне доводилось слушать его «тургеневские» речи, то сидел я, как зачарованный, но боялся взглянуть на скамью подсудимых: слишком резко было несоответствие между реальностью и поэзией. Зато какой это был всепобеждающий обман — правда, правда для Зарудного, так как он никогда не лгал, как бы ни был ему дорог защищаемый интерес. Кстати: почему тем, кто часто твердят — «тургеневские девушки», никогда не придет в ум сказать — толстовские или флоберовские женщины? То-то, что тургеневские.

Сблизился я с Зарудным весною 1903 года, во время нашей совместной поездки и пребывания в Кишиневе в течение нескольких недель: не доверяя официальному следствию о кишиневском погроме, мы вели, независимо от него, свое расследование. Работал Зарудный не менее 12 часов в день, методически, без всякой предвзятости, накопляя факт за фактом. Вечерние часы мы проводили вместе и сблизились настолько, что незаметно для себя перешли на «ты», притом без традиционного обряда брудершафта. Между тем, ни мне, ни ему не была присуща склонность к амикошунству.

Рассказчик Зарудный был удивительный — искренний и интимный. Как ни странно, этой интимности способствовала его задыхающаяся речь — Зарудный с юности страдал бронхиальной астмой. Эта одышка возбудила во мне, почему-то, особую нежность и страх. В его изобразительном таланте, как рассказчика, было, в соответствии с его итальянской и армянской кровью по женской линии, много яркой впечатлительности, умеряемой, однако, русской правдивостью.

Спустя несколько лет после нашего сближения, он много рассказывал мне о своем отце, которого не только любил,

но боготворил. Я был потрясен следующим фактом: после кончины отца на него напала такая тоска, что он боялся рехнуться; чтобы спастись от самого себя, он на третий день после погребения пошел в театр. «Встреченные там знакомые, — закончил он с грустной улыбкой, — шарахнулись от меня, как от зачумленного, — может быть, они были правы, но перед совестью своей прав был я».

Однажды он сказал мне: «Зачем тебе наживать врагов резкой прямотой? Отец учил меня: никогда, Саша, не начинай своих возражений со слов: «Нет, я с вами не согласен». Этого не надо; ты начинай так: «Я с вами вполне согласен, может быть, на некоторых деталях наши мнения не совпадают, но не стоит на этом останавливаться». Польщенный противник ответит: «Нет, пожалуйста, это очень интересно», — тогда нащепи из него лучинок».

— Наставление твоего отца весьма ценно, но ты-то следуешь ему?

— Конечно, странный вопрос.

— Нет, не совсем странный. — Когда на многоголовом совещании защитников перед большим, ответственным делом ты излагаешь свой план защиты, то, едва окончив, обводишь каждого из нас волчьим взглядом, а со второй фразы возражающего хватаешься за горящую лампу. Нет, Саша Сергеевич, нельзя напяливать на свою душу чужую, из этого маскарада, все равно, ничего не выйдет; давай закончим наш спор тем, с чего твой славный отец советовал начинать, — скажи мне: «Я с тобой вполне согласен» — и пойдем пить чай.

Не надо фальши, умереть в конце седьмого десятка — как раз время. Зарудный был бессонный, вечно искал новой правды — и ничто не могло его удовлетворить, ни даже успокоить его совесть. Он всегда шел своим путем, не справляясь, нравится ли кому этот путь или нет. Он отдал борьбе за людей не только свой мозг, но и сердце. Сколько раз перерезал он веревку на шее обреченных: это ли не радость!

Его речи не изданы, даже не собраны. Они умерли в душных залах судов. Неуспех материальный его лекции в Полтаве показал, что он был забыт даже при жизни. — Обижаться на это не приходится. Нельзя требовать от тех, кто от рождения обречены на смерть, болезнь и воздыхание, вечной памяти. О «вечной памяти» можно лишь молиться, как и о многом другом несбыточном.

III.

О ПРОФЕССОРЕ ПЕТРАЖИЦКОМ.

Умер Л. И. Петражицкий.

Не прошло еще пяти месяцев, как в Варшаве в течение 5 дней я проводил с ним ежедневно свободные от работы часы в дружеских воспоминаниях и тщетных попытках вернуть его, — на мой взгляд, мало изменившегося с 1917 г. физически, — к деятельной жизни. Лев Иосифович жаловался на сердечную болезнь (миокардит) и туберкулезный процесс в легких (однако, без повышения температуры), но когда я заметил ему, что у людей его духовного роста болезнь — лишь то, что сильно болит и не дает работать, он ответил мне с тем равнодушием, с каким говорят лишь о давно порешенном: «Пусть так, — значит, мне мешает работать и жить отсутствие желания жить... Если бы я не был верующим, то давно ушел бы... Вы лучше вот что скажите мне — веруете ли вы в небо и в загробную жизнь?»

Я с болью глядел в его глаза — усталые, печальные, — в которых попрежнему светилась пытливая, напряженная мысль; я прислушивался к его речи — мягкой, раздумчивой, искавшей точных слов для его всегда точного суждения. Я мысленно выпрямлял его согнутые плечи, разглаживал морщины на лбу и лице, чтобы снова увидеть того Петражицкого, которого знал без малого 47 лет, — того мыслителя, под знаменем которого шла более двадцати лет юридическая мысль не только России, но всей живой, выбравшейся из мусора классического правовоззрения, Европы.

Нет ни одного угла в области права, куда бы не проник его гений. Из кладовой разнообразных сведений об общих чертах действующего права, именуемой энциклопедиею, Петражицкий создал научную теорию права, в смысле учения о родовых чертах этого класса явлений, вообще. Он первый установил возможность построения научно психологической теории права и формулировал сущность законов его развития, — законов, которых так тщетно искали его предшественники. Ему же принадлежит заслуга создания совершенно новой, дотоле неизвестной науки политики права, как особой дисциплины, служащей прогрессу существующего правопорядка, путем научно-систематической разработки законодательных проблем. Знатоки отмечают также его, исключительной ценности, труды в области методологии общественных наук, его отдельные психологические исследования и предложенное им основоположение начал социологии.

Это лишь внешняя сторона достижений исключительно одаренной натуры. Но есть еще сторона интимная.

Я живо помню, как свыше 50 лет тому назад, 17-18-летними юнцами вступили мы в университет Св. Владимира в Киеве. Стройный, живой юноша с белесыми волосами на оригинальной голове, с голубыми глазами, в которых светилась ушедшая глубоко в себя мысль, быстро привлек общее внимание студентов. Наш первый семестр слушал римское право у проф. Казанцева вместе со студентами третьего семестра. Через два-три месяца Петражицкий выступил на практических занятиях по переводу и толкованию «дигест», поразив профессора и товарищей точностью и изяществом перевода, тонким и находчивым толкованием запутанных текстов. Еще через месяц он взял на себя перевод с немецкого учебника Барона, а к концу второго семестра он совсем зашиб бедного проф. Казанцева. В дни практических занятий огромная аудитория, переполненная юристами разных семестров и чужаками из других факультетов, с нетерпением ждала выступления «нашего Петрика», как стали его нежно именовать товарищи. Как и многие, я крепко полюбил его и проводил с ним долгие вечера в «Краковской молочной».

В его учености, — учености замечательного знатока сухого римского права, уже тогда чуялся большой мыслитель, искатель высшего, об'единяющего смысла права. Сквозь математическую точность логических построений он пропускал искру вдохновения; в нем чуялся мятежный славянин, который, как в древнем сказании, захочет на свой манер, на свой риск перепрыгнуть через «бел-горюч камень».

И это совершилось. Через 10 лет ученой карьеры, с ее головокружительной славой лучшего европейского цивилиста, труды которого цитировались с глубоким уважением в законодательных комиссиях германского рейхстага, Петражицкий внезапно бросает свои богатые «хозяйственные» построения догмы права и начинает с беспримерной энергией и кипучестью строить уходящие ввысь, дух захватыва-

ющие «башни». Умер Петражицкий — цивилист: на его место стал Петражицкий — философ.

Я помню его приезд в Петербург, куда он был приглашен на кафедру энциклопедии и философии права. Я увидел того же славного «Петрика», с его детской улыбкой.

— Мой предшественник предложил медальную тему о Руссо, а я, — сказал он, отмахиваясь руками от невидимого врага, — не знаю всей этой, обязательной по ученому суеверию, литературы. Пусть присуждают медали без меня, а я займусь своим.

С первых же дней огромный актовый зал Петербургского Университета стал бессменной аудиторией Петражицкого. И так, из года в год, множество лет делил он свое время между научным творчеством и университетом.

А теперь?

Я глядел в его усталые глаза, слушал его мерную, раздумчивую речь, — а сердце сжималось от боли: зачем он ускоряет свой уход? Разве он, умница и когда-то дерзновенно-смелый, забыл, что на земле нет ничего, что стоило бы отчаяния и союза с лютым врагом всего творческого — со смертью?

— Как идут ваши лекции в университете?

Петражицкий в ответ:

— Я давно уже бросил их читать. Веду семинарий. Приходят ко мне на дом, — спасибо, что отвели мне квартиру в университетском здании. С конца сентября не выхожу из комнат, а вы про лекции... Мне кажется, что, взойди я снова на кафедру, не сумел бы связать двух слов.

А речь его текла свободно, память работала с поразительной отчетливостью, сыпались забытые мною даты, названия книг, имена отошедших в забвение деятелей.

Я прошелся по комнате, остановился у письменного стола, на котором лежали горками книги без переплетов. Взял в руки одну, другую: не разрезаны.

— Лев Иосифович! Это, повидимому, новые книги, не успели просмотреть?

— Нет, уже несколько месяцев лежат. Но я их не беспокою. Я уже давно не читаю ничего серьезного. Одну газету за целый день. Достаточно. Эта глупая порода, именуемая человеком, переколотила миллионы людей на войне и все же рвется изо всех сил к новой, быть может, еще более страшной бойне.

— Что с вами, дорогой друг? Когда около трех лет тому назад вы писали мне «о глупом и злом роде человеческом», *), я не придал этой тираде особенного значения: сорвалось в невеселую минуту. Но теперь — вы снова то же самое. Ведь этот глупый и злой род создал и создает непрерывно прекрасную землю и не менее прекрасное небо, куда вы так упорно стремитесь. За что же вы так его честите, — вы, так много поработавший для него, так его любивший?

— Я и теперь люблю его. Не я, ведь, зол, а он.

Ошибаются те, которые думают, что Петражицкого убили духовно явления русского большевизма, утрата накопленных тяжелым трудом сбережений. Это неверно. Он еще до октября переехал на свою родину. Там немедленно получил возможность работать научно, без иссушающих забот о куске хлеба: получил кафедру, отзывчивых слушателей и учеников. Еще менее серьезно указание на его огорчение от потери «капитала». Так думать — значит, не только не знать, но мало уважать этого бессеребренника. Его, выкормка Сиротского Дома, нужда не запугала. Нет, не в этих причинах дело. — Более глубокие переживания наполняли его душу отчаянием и утратою веры в жизнь.

Сначала испугали его нечеловеческая жестокость и дли-

---

*) «Варшава, 23 апреля 1927 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Оскар Осипович!

Несмотря на довольно тяжелое болезненное состояние, я решил сегодня, почувствовав некоторое облегчение, собраться с силами, сесть за стол и написать Вам письмо, чтобы выразить Вам мою сердечную благодарность за то, что нашел в Вашем письме. Я за последнее десятилетие значительно приблизился к типу стоиков или буддистов, в смысле освобождения от земных вожделений и страстей и приучения к роли бесстрастного, если не апатичного, наблюдателя того, что делается в среде глупого и злого рода человеческого, и т. д. Но Ваше письмо произвело на меня такое впечатление, что я оживился, обрадовался, даже почувствовал прилив гордости... Еще раз сердечное спасибо за такое Ваше отношение ко мне и такую оценку моей жизни, какие выразились в Вашем письме, причем я имею в виду именно то, что Вы главным образом цените и подчеркиваете...»

Опускаю все дальнейшее содержание этого письма, как относящееся всецело к интимным вопросам.

тельность войны. С ужасом он убедился, что под тонким слоем культуры в душе современного человека живет первобытный дикарь: пробил час исторического испытания — дикарь стал с упоением убивать, жечь, грабить, насиловать, мучить.

Потом пришла гражданская война, когда народ раскололся «на ся», и одна часть его стала с одинаковой беспощадностью истреблять другую.

Петражицкого, — с его глубоким эстетизмом, у которого высшим порицанием было слово «пошлость», а высшей похвалой «элегантность», — смутило не менее, чем жестокость, оголившееся хамство интеллигенции. Он подмечал его везде: в начале возмущался, кипел, а потом забронировал себя холодным презрением.

— Вот, — закончил он, — самоопределилися малые народности, — и начали это самоопределение с унижения и удушения тех русских общественных деятелей, которые бились за них в тяжелую эпоху царизма.

Петражицкий стал перечислять имена своих русских друзей и рассказывать про их печальную участь.

Я возражал, что все это уже было в истории, что смена исторических эпох происходит всегда болезненно, что если рождение восьмифунтовых спекулянтиков связано с муками матери, то приходится мириться и с мучительным рождением великих идей; что самый черносотенный француз, если только он не торгашеская душонка, зовет свою революцию Великою.

Петражицкий перебил меня:

— Это довод против вас: — со времени французской революции ничего не изменилось, а прошло с того времени без малого полтораста лет, — где же тогда духовный прогресс? Чего же вы ополчаетесь против выстраданного мною тезиса?

А затем, более чем в часовой речи, он с присущею ему стройною логичностью и тщательной методичностью в аргументации, нарисовал картину гибели обреченной, как он выразился, Европы, описал точно пути, по которым пойдет эта гибель, и назначил примерные сроки.

Мне трудно было ему возражать, так как сам думаю приблизительно то же, — но с тою лишь существенной разницею, что не считаю общечеловеческой гибелью крушение мировоззрения моего поколения, равно как глубоко верю,

что «золотой век» — не позади, а впереди, всегда и во всем впереди.

Мария Карловна позвала нас в столовую. За обеденным столом Петражицкий совладал со своим мрачным настроением и обратился — ради ли меня, гостя, или жены, не сводившей с него добрых, любящих глаз, — в оживленного, — скажу его любимым словом, — элегантного собеседника. Я поддерживал взятый им тон, вспоминал вместе с ним наш обед после защиты его по делу о выборгском воззвании, но на душе было грустно: жутко было слушать его смех, смотреть на его улыбающееся лицо с нездешним уже взглядом, в котором сквозило неизбывное отчаяние. За кофе он стал расспрашивать тепло и участливо о последних днях покойного латвийского президента Чаксте, которого он полюбил еще со времени 1-ой Госуд. Думы, и вспоминал с благодарной нежностью об его предложении занять кафедру в Латвийском университете.

Незаметно для нас обоих, мы опять вернулись к его научным работам. Петражицкий с сожалением заметил:

— А все-таки, я не выполнил своего долга перед наукою, — сильно перед нею виноват. Что в том, что у меня много монографий? Я не закончил главной работы по выношенной мною в тиши головы эмоциональной теории. У меня накопилось много новых мыслей, — я набросал их, но не разработал. Нельзя же в таком виде выпускать их в свет, А все из-за того, что я стал откликаться на актуальные вопросы права, увлекаться писанием в юридических журналах, Видите ли, думал, что жизнь еще впереди. А вот она окончена — вся без остатка.

Я предложил ему извлечь несколько глав из неопубликованного труда, продиктовать, не заботясь об отделке, наиболее существенное, для начала — мне, а дальше — жене. К этому предложению горячо присоединилась и она.

Лев Иосифович ответил на наши уговоры:

— Вы думаете? Пожалуй, надо попробовать.

На следующий день я пришел к нему и весело сказал:

— Итак, за работу!

Я встретил печальный взгляд преданной ему, безгранично жертвенной Марии Карловны, которая накануне радовалась вместе со мною неожиданно вспыхнувшему интересу Льва Иосифовича к творческой работе.

Я сделал вид, что не заметил ее взгляда и, когда мы уселись, сказал бравурным тоном: «Начнем, что ли?»

Петражицкий, не отвечая на мой вопрос, стал расспрашивать о моих впечатлениях от новой Варшавы, об окруживших меня теплом наших общих польских друзьях.

Я наскоро отвечал, и, поняв его тактику, повторил уже упавшим голосом свое предложение засесть за работу.

Петражицкий посмотрел на меня, на жену и тихо произнес:

— Нет, так быстро нельзя... Как же так неожиданно?

Я понял, что ушедшей в песок реке не вырваться наружу.

Я навещал его аккуратно и все следующие дни моего пребывания в Варшаве, но я оставил попытку подбодрить его, пробудить прежние интересы. Инициативу в выборе тем для наших бесед я старался предоставлять ему. Говорили то о былом, то о текущих общественно-политических вопросах, — но чаще всего Лев Иосифович касался религиозных тем, останавливаясь, по преимуществу, на своей вере в загробную жизнь.

Долго, по возвращении к себе в Ригу, я думал о Петражицком, и всегда он представлялся мне простирающим руки к небу с мольбою наставить, научить, как ему дотянуть свою мертвую жизнь до страстно желаемой кончины.

Но небо, как всегда, молчало. Тогда в отчаянии опустились его руки. — Утром 15 мая он наложил их на себя.

IV.

О М. В. ВАТСОН.

Не стало «неистовой гишпанки», как когда-то я, шутя, ее прозвал: недаром, ее девичья фамилия была — не только де Роберти, но и ди Каста, ди Терра, ди Лацедра.

Трудно поминать печатно близкого человека, в котором дорога каждая, даже самомалейшая, милая черточка: легко запутаться в мелочах.

В чем право покойной Марии Валентиновны на общественное поминовение? — Литературный талант? Он едва ли поднимался над заурядностью: достаточно познакомиться с книжкой ее стихотворных переводов из Ада Негри. Талант

критический М. В. был еще слабее: то доказала написанная ею вводная глава к сборнику стихотворений С. Я. Надсона, в издании Литературного фонда.

Гораздо значительнее ее переводы с пяти языков, — в особенности, перевод «Дон-Кихота».

Однако, и этого недостаточно, по табели литературных рангов, на широкое общественное признание.

Если бы надо было в короткой фразе резюмировать право М. В. на память о ней, я бы сказал: у нее был замечательный **талант сердца,** — талант, встречающийся еще реже, нежели таланты литературные, научные, политические и иные профессиональные. Талант этот, как солнце, одинаково согревал своих и чужих, добрых и злых.

Она была неугомонная, бессонная предстательница за человеческое горе, всегда торопившаяся делать добро, притом, изо дня в день. Только те, кто сами простаивали часами в приемных сильных мира сего в качестве просителей за других, — те, кто сами наглотались вдоволь грубостей и колкостей, — только они поймут, какая это мука разлавать свое сердце по кусочкам, отлично сознавая, что тот, за кого распинаешься, — того гляди, — даже не признает тебя в обществе.

Помню, как один из тех, кому М. В. оказала большую услугу, жаловался мне: «Сделать-то она сделала, но когда я обратился к ней, она на меня здорово накричала, — неприятная женщина».

Я не стерпел, вскочил со стула: «Отчего же вы не хотите признать за М. В. право кричать, когда ей наступают на душевную мозоль, натертую повседневными просьбами за чужих, часто даже неведомых ей людей? Я знаю, чувство благодарности для многих тяжелый груз. Что ж, сбросьте его и вы. Но зачем поносить М. В.?»

С М. В. я познакомился еще студентом, весною 1886 года, когда она, сопровождая больного поэта С. Я. Надсона, приехала в Киев.

Здесь М. В. устроила два вечера в пользу Литературного фонда, чистый сбор с которых (свыше 1.200 рублей) покрыл вдвойне ссуду в 600 рублей, полученную Надсоном за год до того на поездку в Ниццу.

Однако, это не помешало Вурдалаку российской газетной критики — Буренину, в отместку за резкий, но справедливый о нем фельетон в киевской газете «Заря», на-

звать умиравшего поэта печатно паразитом, прикидывающимся больным, чтобы жить за счет благотворительности, а М. В. назвать престарелой немкой Шмандкухен, ищущей любовных утех.

Эти пошлости действовали угнетающе и на нее, и на Надсона, который ответил на них задушевным стихотворением: «За что?»

«За что? С безмолвною тоскою
Меня спросил твой кроткий взор,
Когда внезапно над тобою
Постыдной грянул клеветою
Врагов суровый приговор».

Через два месяца после чтения в пользу Литературного фонда М. В. перевезла Надсона, по совету врачей, на ст. Боярка (подле Киева), славившуюся своим сосновым лесом. Наше знакомство перешло скоро в дружбу, так как я дежурил с М. В. по ночам у постели метавшегося в бреду больного.

Когда он затихал и впадал на час-другой в дремоту, М. В., с присущей ей доверчивой откровенностью, рассказала мне урывками свою жизнь.

Родилась она в аристократической семье, все члены которой, за исключением ее брата, известного философа Е. В. де Роберти, посвящали себя преемственно военной службе. В доме царили строго-консервативные взгляды. Она окончила с шифром один из петербургских институтов. На выпускном акте М. В. читала, в присутствии Александра II, свои французские стихи. Государь ее обласкал. По окончании института, она прожила несколько лет в родительском доме, усиленно работая над самообразованием. Случай ввел ее в литературную среду, где она познакомилась с Э. К. Ватсоном, за которого вскоре вышла замуж. Э. К. Ватсон был тогда одним из редакторов коршевских «С. П. Б. Ведомостей». Газету правительство вскоре закрыло. Этот акт несправедливости глубоко потряс М. В.: как я понял, ей было больно не только за дорогое издание, но, не меньше и за ее кумира — Александра II, которого она встречала на его утренних прогулках в Летнем саду. Он ее помнил, приветливо отвечал на ее поклоны, а иногда останавливался на минуту-другую, чтобы сказать ей несколько ласковых слов.

Когда закрыли «С. П. Б. Ведомости», она задумала в

тиши (мне кажется, это настоящее слово), в тиши своей головы, «переговорить» с государем, раз'яснить ему, в какую он впал ошибку.

Пошла в Летний сад. Встретила государя, подошла к нему и стала ему раз'яснять, что его подвели.

Александр II ответил ей с негодованием: «Как, вы с ними, с этими?..»

Затем, быстро подавив свой гнев, сухо добавил: «Хорошо, я переговорю с министром».

Ее рассказ меня поразил: да, ведь, она лишена всякого чувства реальности и, словно избалованный ребенок, всякое свое хотение мгновенно переводит в действие.

Ограничусь лишь одной сценою из нашей «Боярской» жизни: она раскрыла мне сущность М. В.

После нескольких дней высокой температуры, с бредом и кровохарканьем, Надсон проснулся душевно бодрым, хотя и изнуренным. В постели нельзя было его удержать: с нашей помощью он облачился в свою излюбленную куртку из коричневого бархата, вышел на терассу и принялся за игру на скрипке.

Я ушел по урокам.

Вернулся после обеда. На террасе застал за работою известного всем боярским курильщикам длинного, худого, чахоточного папиросника. Папиросник сильно кашлял и харкал кровью в грязную тряпку, служившую ему платком. Я подумал, что это приступ кашля от табачной пыли. Однако, поздоровавшись с ним, я заметил, что он плачет.

— В чем дело? Где С. Я. и М. В.?

Папиросник махнул рукой: «Я их чем-то обидел; ушли с террасы и, — слышите, — кричат друга на друга».

Не успел я войти в гостиную, служившую для Надсона спальнею, как увидал его в постели, а М. В. расхаживающею в гневных слезах по комнате.

— Что случилось?

М. В., сжав кулаки, стала на меня наступать:

— Он еще спрашивает, что случилось? Случилось, что я еще раз убедилась, что люди подлецы — все подлецы! Мы, вот, считали вас добрым, а оказывается, что вы такой же, как и все. Вы разве не видите, что вот-вот грохнется, исходя кровью, больной человек, а его заставляют работать. Отчего вы не собрали для него денег? Не предоставили ему

возможности пожить летом на даче, без работы, не даете ему кефира, кумыса? Стыдно жить, стыдно!

А Надсон своим милым, матовым, как у всех чахоточных, голосом, едва слышно проговорил:

— За что вы на него накинулись? В чем его вина? Мы с вами более виноваты: для меня всякие Ниццы, Швейцарии, лучшие профессора, общее внимание, а о том несчастном никто не заботится. Мы с вами только пререкаемся и даже не догадались его накормить и обласкать. Конечно, стыдно жить, — но для меня скоро окончится этот стыд, — и, слава Богу, давно пора!»

М. В. прильнула головой к стене и истерически всхлипывала.

В декабре 1889 года, по окончании университета, я переехал в Петербург.

Завязавшаяся между нами дружба в 1886 году еще более окрепла. Мы видались два-три раза в неделю, но редко «без скандалов». Начинался он, если М. В. у нас обедала, за вторым блюдом (М. В., по своему презрению к «утробе», насыщалась первым). Как только отодвинет тарелку, начнет костить очередного «подлеца»; у этой чуткой души был толстый-претолстый словарь резкой «словесности». Нередко он оказывался из моих приятелей. Я горячо вступался — и начиналась баталия. Жена моя быстро водворяла между нами мир, — и к кофе провинившаяся М. В. ворковала с особой нежностью.

За 27 лет нашей дружбы, я с восхищением следил за повседневными подвигами ее никем не превзойденной отзывчивости.

Вела она жизнь далеко не сытую, ночи напролет проводила за переводами. С утра отправлялась на «работу» (по ходатайствам). Никогда она не сомневалась в успехе: «Как это не сделают? Конечно, сделают, — ведь, на этот раз так ясно, что надо помочь». С министрами она об'яснялась так же, как со столоначальниками, а со столоначальниками, как некогда в Летнем саду с царем.

Ее убежденность в том, что просящему надо дать, както сообщалась тем, кого она просила.

За эти 27 лет мне открылось, что то, что я когда-то считал в ней дефектом чувства реальности, имеет глубокое, чисто русское обоснование.

Помните странную философию «Власти тьмы», когда старик Акимыч говорит Никите: «...Людей испугался? Посмотри их в бане, — все они одинаковы».

Так и у М. В.: перед человеческим страданием все должны равно склоняться, — и мелкая сошка, и министр, и царь.

V.

О С. Г. ФРУГЕ.

С поэтом С. Г. Фругом и старшим братом своим (мы от разных матерей) я познакомился в один и тот же день, — в конце декабря 1889 г. в Петербурге.

Не спрашивая имени, прислуга ввела меня в небольшой кабинет брата, где я застал двух партнеров, склоненных над шахматной доской. Один из них, небрежно одетый, с громадной шевелюрой изсиня-черных волос, с высоким лбом, большими черными глазами, доверчивый, прямой взгляд которых сразу меня полонил, с широкой радушной улыбкой, поднялся мне навстречу.

Другой — корректно одетый, в туго накрахмаленном белоснежном воротничке, приподнял от шахматной доски молодую, старчески-лысую голову с чахлою рыжеватой бороденкою и глянул на меня выцветшими глазами, недоверчиво и с опаскою.

Первый был кандидат естественных наук Одесского (Новороссийского) университета, окончивший С.-Петербургскую медико-хирургическую академию, врач-хирург Самуил Осипович Грузенберг.

Другой — поэт Семен Григорьевич Фруг.

Через полчаса, среди радостных шуток и смеха, я сказал брату:

— Зачем ты обобрал Фруга? Посадил на свои плечи голову поэта, а ему притачал осторожный, скептический лик естествоиспытателя?

Фруг, спокойно, размеренно, с точно подобранными словами, с внезапно зажегшимся в тусклости глаз огоньком, посетовал на меня с гримасою обиженного ребенка:

— Ну, вот, — и вы туда же. Далась вам всем моя наружность. Посидели бы с мое, с ранней юности над метрическими книгами о рождающихся, брачущихся, разведенных и умерших, — слетела бы и с вас обоих поэзия.

И потом, засмеявшись тихим смехом, прибавил:

— Вы-то что? Еще милостивы: попрекаете с глазу на глаз. А вот наш общий с Самуилом Осиповичем приятель Марк Варшавский пустил про меня в обращение стихотворный пасквиль.

Фруг прочел остроумный парафраз пушкинских стихов, из которого припоминаю лишь начало: «Всегда размеренная речь и лысина до самых плеч».

Я стал часто встречаться с Фругом. Мы скоро сблизились. Он рассказал мне про свое детство — нищенское, но счастливое, — согретое лучами южного солнца, обласканное теплым дыханием безбрежной новороссийской степи, с ее цветами, злаками, с ее немолчным гомоном миллионов неприметных существ. Юношей он поступил писарем в канцелярию раввина еврейских земледельческих колоний Херсонской губернии. Там его ценили за отличный почерк.

Между записями о пришедших в мир и из него ушедших зарождались, вырывались на волю первые песни Фруга. Он послал в Петербург несколько стихотворений присяжному поверенному Марку Варшавскому — посредственному поэту, обладавшему талантливым сердцем. Тот показал их выдающимся русским критикам. Они отнеслись к ним с сочувствием. Даже такой ругатель, пересмешник и органический жидоед, как В. Буренин, отозвался о таланте Фруга с большою похвалою.

Осчастливленный поэт поспешил в С.-Петербург.

Наивный, робкий провинциал, он с первых же дней растерялся перед обступившими его со всех сторон унижениями и тревогами. Стали таскать его по полицейским участкам, — и, наконец, после долгих хлопот, разрешили жительство в Петербурге, в качестве слуги у Варшавского.

Началась обычная жизнь русско-еврейской знаменитости, именем которой щеголяют в полемике с антисемитами, но которую держат впроголодь.

Я познакомился с Фругом, когда прошел уже первый день его говорливой славы.

Гость — говорится в одном из еврейских сказаний — в первый день благоухает, во второй — сохнет, в третий — скверно пахнет.

Евреи торопливы, как дети, и изменчивы, как женщины.

Повидимому, Фруг переживал тогда начало своего второго дня, так как крупная еврейская буржуазия не так часто звала его к себе и не упрашивала, как раньше, «украсить своим участием» благотворительный вечер.

Еврейские народные массы? — Он был для них, если не чужой, то посторонний, ибо он пел им о них же на языке, на котором они привыкли слышать, чаще всего, окрики, насмешки, брань и угрозу.

А русские? Почему они не усыновили, не приласкали русского поэта? — Надо же быть справедливым: разве Фруг был р у с с к и м поэтом?

Фругу казалось, что, попав в Петербург, он вырвался из «черты оседлости» и вырвал из нее свой талант! — Увы! Как тяжело больной влачит с собой всюду свою болезнь, он влачил цепи «черты», прислушивался к ее немолчным, ревнивым зовам. Среди больших людей и кипучих идей русской столицы Фруг жил, словно в пустыне.

Он пел на русском языке, но не смел, не мог стать русским поэтом, — и чуткое русское ухо сразу уловило, что поэт чужак, что его поэзия — не русская, что она — лишь отличный перевод с еврейского.

Выходили новые издания его песен, оживляя славу, но принося незначительные средства.

Вскоре к нему стала стучаться нужда. Пришлось взять работу в бойкой, бульварной «Петербургской Газете».

Там, под псевдонимом, помещал он стихи на злободневные темы.

Зашипели змеиным шипом враги. Начали между собою перемигиваться с видом сокрушения друзья.

Фруг окончательно замкнулся. Стал еще более мнителен, отовсюду ожидая нападения, обиды.

Потянулась сумеречная жизнь: нужда, приступы страха, что талант изменил, что мысль больше не взвивается орлом, но бессильно трепыхается перебитыми крыльями. Им стало овладевать отчаяние, что бежит от него, — когда-то дружелюбное, — вещее слово, что без сыска и выемки оно уже больше не дается. Если в эти страшные дни Фруг не покончил с собою, то только потому, что его полюбили, и он полюбил.

Пришла хорошая женщина, русская, с жертвенной любовью, не озирающейся назад, не заглядывающей вперед, — пришла, не справляясь на бирже жизни, — во что ценят ее «суженого», его «желанного», пришла и сожгла себя, чтоб

пламенем своим согреть стынущего, замерзающего, из сердца которого проклятая жизнь выстудила все тепло.

Фруг прожил два-три хороших года. Родился ребенок, — хилая, болезненная девочка. Врачи погнали Фруга на юг. Он переехал в Одессу.

Здесь сначала приняли его хорошо. Потом стал подходить конец еврейского второго дня. С бессовестным переводом стрелок вперед, приблизили т р е т и й день.

Талант Фруга стал иссякать.

Через несколько лет я получил из Одессы, его прекрасную, на русском языке, книгу о еврейских сказаниях, в которой сквозь прозаическую форму проступает его поэтическая душа.

На книге была короткая надпись: «В память того, кого мы оба любим, — в память вашего брата Самуила Осиповича».

Одновременно с выходом этой книги, стали доходить в Петербург слухи, что Фруг бедствует, в острой нужде. Хорошо упитанная, развеселая Одесса не позаботилась дать кусок хлеба крупнейшему еврейскому поэту на русском языке. Мы организовали кучку, которая ежемесячно посылала ему небольшое пособие.

Через год я получил от него краткое письмо, быть может, самое сильное из всего, что он когда-либо написал.

С отчаянием, замороженным гордостью, Фруг сообщил мне о смерти 14-летней дочери.

После дела Бейлиса, осенью 1913 года, я прочел в «Рассвете» посвященное мне Фругом стихотворение. Меня тронула его память, — но с болью убедился, что мертв его талант.

Вскоре Фруг умер. На могиле его — ни памятника, ни даже плиты.

VI.

ОБ А. В. ПЕШЕХОНОВЕ.

I.

Ушел богато одаренный, нужный для жизни работник.

Не только по своим убеждениям, но по всей своей сущности, А. В. Пешехонов был человеком роя, громады, — но в то же время всегда оставался независимым, даже мятежным.

Включив его, совсем молодого, в семью «Русского Богатства», Н. К. Михайловский с нежной шутливостью сказал своим ближайшим сотрудникам по работе: «Привел я вам бычка, бодливого и непокорного, но он верный, стойкий товарищ».

Начав со статей по своей специальности, — статистике и экономике, — А. В. скоро проявил себя, как выдающийся публицист, с глубокой, ясной мыслью и точным, прозрачным словом.

Между ним и многочисленными читателями вскоре протянулись незримые нити не только во взглядах, но и от совести к совести. Быстро окрепло его влияние в редакции, и после смерти Михайловского он стал одним из фактических редакторов журнала.

Пешехонов был одним из учредителей партии «народных социалистов», которая, при небольшом сравнительно с другими партиями, числе членов, пользовалась значительным моральным влиянием в стране. Он же был одним из создателей «Северного крестьянского союза». Процесс этого союза, окончившийся в отношении Пешехонова оправдательным приговором, превратил наши добрые отношения в верную дружбу. Окрепла еще более моя дружба и со всеми членами редакции «Русского Богатства», защитником и представителем которой перед начальством я стал года за полтора до того. Сделать что-либо для «Русского Богатства», помочь тому или иному члену редакции выпутаться из беды было для меня наслаждением, почти что праздником. В годы защиты журнала от атак главного управления по делам печати и прокурорского надзора мне было гораздо труднее сладить с редакторами, нежели с противниками. Вряд ли кто может похвалиться, что ему удалось склонить на компромисс Н. Ф. Анненского, В. Г. Короленко, В. А. Мякотина, А. В. Пешехонова, поэта-каторжанина П. Ф. Якубовича (Мельшина) и др. Тем отраднее было чувствовать, что постоянное равенство самим себе, суровая стойкость в борьбе за свои верования сочетались у этих людей с женственной мягкостью к друзьям и памятливой признательностью за малейшую услугу. И когда в вышедшей уже при большевиках юбилейной и — увы! — п о с л е д н е й книге «Русского Богатства» я прочел посвященные мне редакцией — «за себя и читателей» — теплые строки, мне хотелось ей ответить (но уже негде было): благодарность

не мне, а вам за незабываемую радость многолетнего общения.

Я полюбил А. В. Пешехонова и его семью, состоявшую из жены-врача Антонины Федоровны и бесконечно милого ребенка, убитого в гражданской войне, в которой он участвовал в качестве белого офицера.

Ни одна неделя не обходилась, если не без личной встречи, то, по крайней мере, без продолжительной беседы по телефону. Мы знали всякое событие в жизни друг друга.

Видались мы и в эмиграции — но еще больше, разделенные пространством, переписывались. Сейчас не время и здесь не место рассказывать про жизнь этого замечательного человека. — Я остановлюсь лишь на одном факте, отравившем ему жизнь в эмиграции и смутившем некоторых из его искренних друзей — на его «возвращенстве».

Ни П. Н. Милюков, горячие строки которого о покойном растрогали многих глубиною горестного переживания, ни интересные статьи Е. Д. Кусковой и М. И. Ганфмана (в рижской газете «Сегодня») не могли обойти эту трагедию.

Вся «вина» А. В. состояла в том, что в то время, как мы, эмигранты, лишь крепко любим Россию — а некоторые из нас только любят любить ее, — он без нее не мог дышать, не мог жить. Чего ему не доставало в эмиграции? — Казалось бы, на редкость ему повезло: жизнь в гостеприимной, славянской стране (в Чехословакии) в должности тов. председателя Русского научно-исследовательского института во главе с Н. С. Прокоповичем, о котором он всегда отзывался не только с уважением, но и с неизменной симпатией. А вот, подите ж: вон из «чешской богадельни», хочу домой — и вся недолга. — Где нам, верноподданным Нансена, понять его бессонную муку!

Вот уже который день лежат передо мной пачки писем Пешехонова с 1922 по 1927 г. включительно. Их больше сорока: из Москвы, Риги, Берлина и Праги. Читаю их и отодвигаю не дочитав: так обидно, что этот крепыш, которому, казалось, нет износу, лежит в мерзлой земле, хотя он на год моложе меня.

Я ограничил свое изложение лишь вопросом о «возвращенстве» Пешехонова, но необходимо привести целиком его первое письмо ко мне из Москвы от 21-го июня 1922 г., которое сразу обнаруживает его обыкновение — не считаться с внешними условиями и, если писать, то писать откровенно: не мог же он не сознавать, что, при всех строях и режимах на письма выдающихся политических и общественных деятелей не распространяется закон о тайне корреспонденции? Если она и остается тайною, то иногда от адресата, но никогда — от властей.

Привожу это письмо от 21 июня 1922 г. с опущением лишь того, что не представляет интереса для широкой публики.

«Несказанно были рады получить непосредственную весточку от вас. Долго-долго мы ничего о вас и узнать не могли. Лишь после того, как прекратилась блокада, узнали, что вы в Берлине и что Юра при вас.

Про Бориса до сих пор — простите — писать не могу. Разве очень кратко: убит он 31. V. 1920 осколком снаряда в голову наповал. Узнали мы об этом только в феврале 1921 г. Никаких сомнений. При нем была жена, она его и похоронила. Но я до сих пор не верю. Антонина Федоровна нередко целые ночи проводит в слезах. Взяли мы приемыша 4 лет. Славный мальчуган, но и это плохо действует.

После разлуки с вами пожили со всячинкой. Но последние два года жили спокойно в Харькове. Счетов со мной не сводили. Без советской службы, конечно, было нельзя. К счастью, у меня оказалась профессия — статистика, позволявшая оставаться в роли наблюдателя и регистратора. Держался и держусь все время совершенно независимо. Но оставался и остаюсь вне политики. Дальнейшее мое пребывание на Украине признано неудобным (мне, повидимому, приписывали слишком большое влияние там). Но оказалась возможность перебраться в Москву. Ваше письмо дошло до нас две недели тому назад, когда все вещи у нас были уложены, накануне от'езда из Харькова. В Москву я приехал дня три тому назад один. Семью и вещи оставил по дороге, верстах в 70 от Москвы, на даче. Квартиры в Москве нет, и как найдем — не знаю. За комнату надо заплатить миллиарды. Но мы не унываем. Думаем, что в течение летних месяцев все-таки удастся что-нибудь отыскать. В материальном отношении — особенно в последнее время — мы живем недурно, по-здешнему уровню — даже очень хорошо. Все почти наше имущество в Петрограде пропало, но нужды ни в чем не чувствуем.

В душевном отношении — правда, хуже. Обществен-

ной жизни — нет никакой. Никаких почти интересов. Служба и работа на дому — вот и все. Надеемся, что в Москве жизнь будет несколько богаче.

В литературном отношении наша публика пыталась, было, зашевелиться, некоторые и продолжают пытаться — но, видимо, еще рано. Помимо всего прочего, сейчас и в книжном деле, как во всех других областях, кризис. Нет покупательной силы, и напечатанное количество товара, какое успели приготовить, лежит без движения. Кроме этого, и другие условия далеко еще не благоприятны. Во всяком случае, для публицистики еще нет места. Да и в душе как будто еще нет чего-то, чтобы взяться за перо. По крайней мере, я ничего не пишу, кроме как по специальности.

Я так же, как и вы, «ничего не кляну, ни от чего не отрекаюсь, ни о чем не жалею». И думаю, что колесо сделало много оборотов. Прибавлю, что не чувствую себя и раздавленным. Как будто, жив еще и порою мечтаю, что на что-нибудь, как-нибудь, пригодимся еще».

Казалось бы, все у него благополучно.

Увы, спустя без малого три месяца (21 сентября 1922 года) пришла от него печальная весть:

«Не писал вам так долго только потому, что в день получения вашего июльского письма был арестован. Освобожден уже в сентябре, причем назначен к высылке за-границу, куда и выезжаем (через Ригу, многие поедут через Петербург) послезавтра. Виза нам дана германская, и возможно, что будем в Берлине с Антониной Федоровной и нашим пятилетним сыном Анатолием (вы его не видали, появился он у нас после того, как мы расстались), пожалуй, раньше, чем дойдет это письмо. Увидаться с вами будем чрезвычайно рады — это одно из главных удовольствий, какое предстоит нам, — но вообще-то очень побаиваемся заграницы. Пока едем в Берлин — а дальше не знаем».

II.

Однако, погостив у меня в Берлине неделю-другую, А. В. осел в Риге. Причина: близость к России, можно перекинуться о ней хотя бы словечком с проезжающими оттуда за-границу. Играло, конечно, роль и слабое знание им иностранных языков, — однако, роль не решающую:

«Говорю по-русски, — шутил он, — но молчать умею на всех языках».

Через несколько месяцев литературные занятия погнали его в Берлин. Там он прожил свыше полутора лет, пока тяжелые условия жизни (инфляция) и настойчивость друзей не побудили его переехать в Прагу. Из этого периода, хотя с нарушением хронологии, приведу одно лишь письмо (от 8 мая 1924 г.), в котором он неожиданно сообщает мне о предпринятых им шагах к возвращению в Россию. Приведу из этого письма лишь ту часть, которая относится к возвращенству:

«...Мы здесь живем по-старому, — как я уже сказал, все так же нудно. За последнее время как-то само собой вышло, что несколько моих друзей и знакомых (между прочим, американцы, которых вы у нас видели), а отчасти и незнакомых, имели разговоры с советскими сановниками (между прочим, с Ольгой Давыдовной) о моем возвращении в Россию. И все получили один и тот же ответ: никаких препятствий для моего возвращения нет, — достаточно моего заявления о моем желании. Но, очевидно, нужна какая-то бумажка с моей стороны. Недели две тому назад я проделал такую штуку, — отправился к Крестинскому, предупредив, что я обращаюсь к нему отнюдь не с просьбой, а лишь в порядке информации, спросил: могу ли я вернуться в Россию, не настало ли для этого время? А то, ведь, идут годы, а конца нашей высылки не видно. Он сказал, что запросит Москву. Посмотрим, что из этого выйдет. Между прочим... мне сказал: «Не думайте, что давление уменьшилось, оно теперь еще сильнее». И, действительно, все приходящие из Москвы вести говорят о чрезвычайно усилившихся за последнее время репрессиях. И, главное, никто не может понять и догадаться, в чем дело, какая их причина и какая их цель? И вообще о жизни в России сообщают много тяжелого: все невероятно запуганы и бьются в тисках нужды. **Но на меня это не действует: не на свободную и приятную жизнь я расчитывал и расчитываю в России. Совсем не так для меня стоял и стоит этот вопрос».**

Пусть те, которые утверждали, что к возвращению домой Пешехонова толкали эгоистические житейские мотивы, знают, что он отчетливо понимал, что едет на тяжелую жизнь.

Через два месяца после цитированного мною письма он переехал в Прагу. Привожу его первое оттуда письмо (от 27 июля 1924 г.), так как оно многое об'ясняет в занятой им позиции:

«Пишу вам уже из Чехии... В газетах сведения о моем переезде появились раньше, чем я решился на это. Ехать сюда не хотелось, и я всячески этому противился. Прежде всего, Прага — дальше от России. В Берлине то и дело появляются люди оттуда. Перед самым от'ездом видел, например... из Москвы, накануне от'езда у меня был Браудо, теперь А. Ф. пишет, что приехала Русанова. Нет-нет, да и получишь если не ощущение, то более ясное представление о русской действительности. Ну, а сюда почти никто не заглядывает. Это очень много значит. И воздух здесь — эмигрантский, воздух — более спертый, не проветривается. Дышать им, особенно для меня, будет, конечно, еще труднее. А, кроме того, и жизнь здесь провинциальная. В небольшом городке толчется очень много русской интеллигенции, вынужденной вариться в собственном соку. Усиленно культивируется «русская общественность»: заседаний без конца. Каждый вопрос измочалят до тошноты. И, конечно, дело не обходится без интриг, подсиживаний и сплетен... Да, не хотелось ехать. Но пришлось, потому что оставаться в Берлине было уже немыслимо.

Должен, однако, сказать, что сам я не шевельнул даже пальцем, чтобы перебраться. Это уже другие старались... Сначала меня прочили в институт сельской культуры или, как называют его противники, в институт сельской красоты. Учреждение, конечно, надуманное. Одни старались меня вдвинуть в него, а другие противились. И около этого народилось бесчисленное количество сплетен, что меня, конечно, еще больше отвращало от Праги. Но тут Земгор предложил мне написать очерк его деятельности. Возможно, что это только предлог, чтобы перетянуть меня в Прагу. Им я и воспользовался. Теперь, стало быть, состою историографом Земгора. Не очень-то вкусно. Но и вопрос об институте сельской культуры не ушел, — только отодвинулся...

Здесь я пока один. А. Ф. и Толик остаются пока в Берлине. Нужно сначала найти помещение. Здесь это дается нелегко. Надеюсь, однако, что дней через десять все уже будем здесь».

Для меня стало ясно, что приехал А. В. в Прагу предубежденный; стало быть, жизнь будет ему в тягость. Так оно и случилось.

Дружба не в том, чтобы быть сыщиком в душе друга своего и сверять биение его сердца со своим хронометром. Для меня было ясно лишь одно: надо помочь А. В. поскорее вернуться домой, в Россию. Но чем я мог помочь? Все мои былые связи в России оборвались: по свойству моего характера, оглядываться назад не люблю, а в моем возрасте надо уважать даже свои ошибки.

Однако, помог случай: в Париже я встретился с приехавшим на короткое время из России Н. Д. Соколовым. Я рассказал ему о Пешехонове и просил переговорить с Красиным, с которым я когда-то встречался у Горького. Соколов исполнил мою просьбу и сообщил, что Красин обещает свое искреннее содействие. Я поспешил сообщить об этом Пешехонову, чтобы хоть чем-нибудь подбодрить его. Прошло после этого несколько месяцев. Пешехонов, видимо, впал в отчаяние и решил сам действовать официальным путем. Неожиданно я получил от него письмо от 17 мая 1925 года:

«Вчера я подал здешнему представителю СССР заявление следующего содержания: «В 1922 г. я, вместе с другими лицами, по распоряжению ГПУ, был выслан из пределов СССР за-границу, при чем срока высылки мне не было указано. Имея, однако, в виду, что по действующему советскому законодательству высылка может быть назначена на срок не более 3 лет, я полагаю, что срок моей высылки, во всяком случае, истекает в текущем году. Желая возможно скорее возвратиться в Россию, я прошу вас теперь же выяснить вопрос, могу ли я и когда именно получить визу на в'езд в пределы СССР». Подал я это заявление, в виду вновь полученных из Москвы указаний, что вопрос о моем возвращении нельзя двинуть с места без моего письменного заявления: нужно, чтобы началось формальное производство по этому делу. Иначе, повидимому, дальше разговоров, хотя бы и самых благоприятных, дело никак не могло двинуться.

Здешнего представителя я не застал и был принят его заместителем, советником Приходько. Последний встретил меня очень приветливо. Ответить на формальный вопрос, когда кончается срок нашей высылки, он затруднился, но

сказал, что, по его мнению, достаточно с моей стороны простого заявления о желании вернуться. Так как это в последнем моем заявлении имеется, то этого совершенно достаточно.

Мне казалось бы нелишним копию моего заявления сообщить Н. Д. Соколову. Я бы сделал это сам, не утруждая вас, но не знаю, как адресовать ему. Если Красин намерен что-нибудь предпринять, то лучше всего, конечно, было бы, если бы он сделал одновременно с моим заявлением и, может быть, даже в связи с ним».

Тем временем, А. В. получил, как сообщил мне в письме своем от 14-го июня т. г., письмо от Красина с обещанием сделать для его возвращения все, что он сможет.

Однако, Красин не успел или забыл исполнить обещанное, так как 29 июля Пешехонов сообщает мне о получении из полпредства в Чехословакии следующего сообщения: «Гражданину А. Пешехонову. В ответ на ваше заявление о разрешении вам возвращения в СССР, полномочное представительство СССР ставит вас в известность о состоявшемся решении этого вопроса центром. Согласно этого решения, центральные органы при СССР не нашли возможным удовлетворить вашу просьбу».

«Итак, — продолжал Пешехонов, — история с моим возвращением кончилась, как и следовало того ожидать... Мне сдается, не сыграла ли в этом случае свою роль моя статья в «Воле России»? Зиновьев, в одной из своих речей, уделил ей много внимания. По моему адресу им был высказан целый ряд комплиментов, и, вместе с тем, я был квалифицирован в качестве врага сов. власти и идеолога кулачества».

Надо кончать, так как моя статья разрослась более, чем я думал. Что-ж, приводить новые и новые письма на одну и ту же мучительную для А. В. тему! В своем стремлении домой, он не смирился, — и ему было предложено, — вероятно, в виде искуса, — занять место по своей специальности (экономике) в Риге. Он приехал туда в августе 1927 года и за пять слишком лет своей службы был впускаем в Россию лишь на несколько недель, вроде как турист.

Повидимому, власти считали его неблагонадежным — и не без основания.

VII.

О П. И. ДАШЕВСКОМ.

Тех, кого я защищал, я включал в число своих близких, может быть, потому, что очень дорого обходилась мне душевно всякая защита.

Хорошо или плохо защищал я — судить не мне. Но одно могу сказать: я чувствовал себя на скамье защиты, как если бы сидел на скамье подсудимых.

Среди моих подзащитных Дашевский — любимейший из любимых, он — мой Вениамин.

Сутулый, со слабо развитой грудью, с худыми руками, с доверчивыми глазами, в которых глубоко засела печаль, с неуверенной, пугливо-спотыкающейся речью, — любящий, нежный, он неожиданно стал убийцей: неожиданно не только для близких, но и для себя.

Да, убийцею!

Этим именем назвал его не формальный правительственный суд, — так назвал его суд свободный, ни от кого как от своих убеждений и предубеждений не зависящий, суд присяжных заседателей.

Присяжные признали, что студент киевского политехнического института Петр Дашевский, 21 года, с заранее обдуманным намерением лишить жизни бессарабского дворянина Крушевана, нанес ему удар ножем в шею, но смерть не последовала по причинам, от воли его, Дашевского, независевшим.

И все же, он — не убийца. Это если не сознали, то почувствовали всем существом коронные судьи, с председателем Д. Ф. Гельшертом во главе (раздражительным, но добрым человеком). Они спасли юношу от неминуемых, казалось бы, каторжных работ.

Путем юридических ухищрений назначили ему арестантские отделения сроком на пять лет, с лишением особых прав и преимуществ.

Я узнал Дашевского уже после суда над ним. С болью я отклонил его приглашение: петербургские еврейские деятели порешили, что его должен защищать непременно христианин.

Они полагали, что можно будет спасти подсудимого,

запрятав далеко от взоров судей вопрос о национальном достоинстве и национальной обиде. Они бессознательно превратили жертву в палача, лишили закиданное грязью русское еврейство одного из его беспорных героев.

У детей народа, лишенного всех человеческих прав, не может быть отнято никакими законами право умирать с достоинством. — Когда Дашевский шел на свою Голгофу, он был уверен, что его разорвет в клочья толпа, а если уцелеет, то добьет его угодливый воле начальства военно-полевой суд.

Через несколько дней после погрома я, совместно с товарищами своими по расследованию — А. С. Зарудным и Н. Д. Соколовым, приехал в Кишинев.

Горячее солнце. Одуряюще-сладкий запах распустившейся акации. Медленно движущаяся по тротуарам веселая, по-южному шумливая толпа, — среди нее одинокие, торопливо пробирающиеся фигуры евреев и евреек. Словно, они еще продолжали чувствовать занесенные над ними руки убийц; словно еще продолжали поганить и рвать тело еврейских дочерей спущенные властями с цепи дикие самцы. Сконфуженно отворачивали евреи лицо свое от встречавшихся по пути интеллигентных христиан, еще за несколько дней перед тем считавшихся их лучшими друзьями.

Друзья... Где были они в страшные дни? — Среди заступников? — Ложь: заступников не было, — по крайней мере, действенных заступников.

Я метался по улицам, по дворам.

Я видел громадные дома, разрушенные поджогом, и, еще больше, неистовой человеческой силой. Неподалоку от них — в боковых уличках — разметанные до основания жалкие домишки бедноты с разбитым вдребезги жалким скарбом. И всюду — кровь, кровь... Местами еще не засохшие сгустки вывалившегося из разбитых черепов мозга.

Меня водили по свалочным местам, по ретирадам, где в гуще экскрементов, в жижице мочи валялись трупы женщин, стариков и детей.

Не убраны еще все трупы: их так много. Всюду стоны, причитания: еще не припрятано горе.

Юные друзья из еврейской самообороны показывали мне улицы, где высланные на защиту погромляемых войска замыкали, по приказу своего начальства, штыками концы и повороты улиц, дабы не могли проникнуть «самооборонщи-

ки». Надо же было обеспечить погромщикам безопасность и спокойствие в их «работе». И когда толпа разбивала последнюю лавочку и выпускала из последней перины пух, офицер весело командовал, напуская на себя суровый вид: «Довольно, ребята... Говорят же вам — довольно... Ступай!»

Толпа переходила для продолжения погрома на другую улицу.

С утра давал я себе слово сосредоточиваться на работе, оторваться от страшного зрелища, от буравивших мозг стонов. Но через час напрасных усилий совладать с собою я был снова на улице, снова вбирал в себя слезы, отчаяние, горе, чтобы никогда, никогда не забыть. Я возненавидел своих товарищей по работе, я презирал самого себя за то, что мы пришли на позорище, на пепелище, на кладбище с хлыстиком юридической помощи.

И в то время, как я изнемогал от придавившего меня отчаяния, — там, за несколько сот верст от Кишинева, на одной из скромных улиц Киева, в семье незадолго до того умершего врача Дашевского, юноша с печальными глазами и с девичьи-беспомощными руками думал свою одинокую думу.

Брызги крови кишиневской резни пали на его душу и зажгли ее болью, стыдом и негодованием.

Он не плакал. Он сосредоточил все помыслы, все желания, весь смысл жизни на одном — на Кишиневе.

Он не плакал, — он копил действенную волю. Он ждал. — Неужели русская общественность, русская революционная среда не крикнет не подлым фальцетом лирических излияний, а грудным голосом мятежной души слово грозного протеста .

Прошло два месяца: откликнулся только хороший Набоков. Дашевский крепко обнял замученную жизнью мать, поцеловал сестру и брата и уехал в Петербург. — Зачем? — Сказал: «Очень нужно» и все.

До сих пор не уяснил я себе, — были ли у него сообщники. Однако, для меня нет сомнения, что в его планы было посвящено несколько близких товарищей.

Из газет, из рассказов потерпевших Дашевский знал, что главным подстрекателем к жидотрепанию, — подстрекателем, через которого действовала «охранка», — был редактор местной газеты Крушеван.

От них же, друзей своих, он узнал, что Крушеван в С.-Петербурге.

Дашевский отправился туда.

С револьвером в кармане, он стал искать встречи с Крушеваном.

В первый раз он увидел его на главной улице Петербурга — Невском проспекте.

Дашевский побоялся стрелять: Крушеван шел в обществе дам, и была опасность задеть какую-либо из них.

В следующий раз Дашевский встретил Крушевана на Невском, один на один.

Крушеван шел веселый, жизнерадостный, добродушно поглаживая на ходу великолепную собаку. Дашевский с ужасом почувствовал, что ненависть его вдруг обвалилась и стала быстро таять. Рука, сжимавшая лежавший в кармане револьвер, быстро разжалась. Напрасно Дашевский будил в себе гнев, обиду: рука не может, не хочет стрелять.

Крушеван прошел мимо.

Стыд, презрение к себе ударили горячей волной в сердце и отлили к голове.

Раскрыв на ходу лежавший всегда в кармане финский нож, Дашевский нагнал Крушевана и ударил его сбоку в туго накрахмаленный воротник. Нож оцарапал шею.

Как уже сказано, я узнал Дашевского после суда над ним. Его горькая доля отравила меня стыдом неуплоченного долга. Пусть рука его в крови, но сердце его жалостливее, нежели серце тех, кто его судили и осудили.

Надо помочь... Написал кассационную жалобу в Сенат: она провалилась. Чем еще помочь?

Директором департамента юстиции был тогда И. Г. Щегловитов.

Я кинулся к нему: помогите!

Я заразил его своей тревогой, он обещал мне переговорить с министром. Через несколько дней Щегловитов вызвал меня по телефону и сообщил: «Министр боится даже пошевелиться по этому делу, так как государь выразил Крушевану письмом радость по поводу чудесного избавления от смерти и ежедневно наводил справки об его здоровьи».

Прошло два года.

Лечась летом за-границей, я прочел в газетах сообщение о назначении Щегловитова министром юстиции.

Я написал ему тотчас же следующее: «Много времени тому назад я просил вас об освобождении от дальнейшего отбывания наказания дорогого мне юноши П. И. Дашевского. Вы отнеслись к этой просьбе с обычным вниманием. К сожалению вам не удалось убедить министра. Быть может, на этот раз вы окажетесь счастливее».

Недели через две я получил от своего помощника письмо с сообщением, что ко мне звонил заведующий одним из отделений министерства юстиции и об'яснил, что министр приказал изготовить высочайший доклад о помиловании Дашевского, — между тем, в делах министерства не оказалось прошения ни со стороны осужденного, ни даже со стороны кого-нибудь из его родных. Я поручил написать в Киев матери Дашевского о высылке мне в Петербург незаполненного листа бумаги с ее подписью и попросил своего помощника заполнить его обычным текстом.

Когда я вернулся в С.-Петербург, Дашевский был уже на свободе. Он долго недоумевал — по какой причине свалилось на него непрошенное сокращение наказания свыше, чем на $1\frac{1}{2}$ года.

Я сделал вид, что ничего не знаю: помнил, как долго меня журил за такую проделку один милый юноша.

Потом Дашевский уехал в Киев и подал прошение в Политехнический Институт о зачислении его вновь в студенты. Тут обнаружилось, что в акте об освобождении от наказания не было упомянуто о возвращении ему утраченных по суду прав. Сказалась пакостливая рука кого-то из чиновников министерства. Я хотел снова обратиться с просьбой к Щегловитову о дополнительном раз'яснении, — но на этот раз без подписи Дашевского обойтись нельзя было. Он мягко, но категорически воспротивился. К счастью, директор и профессора Института питали к Дашевскому такие же теплые чувства, как все, кто его знал. С риском попасть под суд они включили его в число студентов.

Дашевский прекрасно окончил институт. Не желая, однако, подводить своих учителей, он отказался от получения диплома. Дашевский поступил простым рабочим на один из нижегородских заводов. Не для политики: она была ему чужда. Дашевский работал и жил, как все рабочие. В письмах ко мне — добрых и ласковых — он восхищался душевными и умственными качествами русского рабочего.

Разразилась февральская революция. В акте Временного Правительства об амнистии было указано, что она распро-

страняется не только на политических, но и на тех уголовных, которые действовали из побуждений политических. Я сейчас же вспомнил о Дашевском. К сожалению, в приговоре о нем суда не было упомянуто о побуждении к совершению преступления... Пришлось обратиться в суд с письменным об'яснением — и через три дня Дашевский был восстановлен в правах.

Когда дойдут до него эти строки, он с девичьей стыдливостью прошепчет: «Зачем обо мне напоминать?»

— Так надо, милый ребенок с седеющими волосами. Надо, чтоб сухие равнодушные люди, заносящие без жалости в свои страшные гросбухи всякий долг, как бы ничтожен он ни был, знали и помнили тех, перед кем они в долгу.

VIII.

О ДЕМЬЯНЕ БЕДНОМ (ПРИДВОРОВЕ).

Ходила ко мне часто, хлопоча за других, но никогда о себе, одна девушка, почти всегда сопровождаемая подругою, глядевшею на нее восторженно, с молчаливой, чисто-институтской влюбленностью.

Институтка эта не привлекала моей симпатии — слишком уж безличная. Но та, другая, не могла не вызвать уважения. Бодрая, деловитая, тщательно собранная, она никогда не швыряла в мою душу революционных тайн, как неделикатно делали некоторые другие.

Привлекало к ней и то, что она считалась с моим распорядком дня и не являлась ко мне по утрам, которыми я весьма дорожил.

Однажды (это было зимой 1906 г.) она пришла ко мне утром. Я распорядился принять ее, так как не сомневался, что без крайней необходимости не пришла бы в неурочное время.

Такою, как в этот раз, я никогда ее не видел: бледная, тревожная, с каким-то нездешним взглядом.

— Что с вами? Больны?

— Нет... Пустяки... Должно быть, немного простужена. Я пришла к вам проститься и поблагодарить за доброе внимание к моим просьбам.

— Разве уезжаете надолго?

— Не уезжаю, но беспокоить вас больше не придется.

Затем быстро, как-то резко поднялась и, не глядя, пожала мне руку.

На другой день я прочел в вечерней газете, что она участвовала в Кронштадте в покушении на жизнь председательствовавшего в выездной сессии С.-Петербургского военного суда генерала Томашевского: он выносил, по законам военного времени, один смертный приговор за другим.

На третий день после казни явилась ко мне дотоле незнакомая мне мать ее и рассказала, что приведение приговора в исполнение задержалось вследствие беременности дочери: прокуратура запросила высшее начальство, — не отложить ли казнь, пока родит; однако, последовало распоряжение казнить безотлагательно. Мать пришла ко мне лишь для того, чтобы передать, по просьбе дочери, прощальный привет. Я не стал говорить матери жалких слов утешения: кто отнимает у другого жизнь, должен быть готов расстаться со своею.

В ближайшее воскресенье, около трех часов пополудни, ко мне позвонил прокурор судебной палаты П. К. Камышанский. О нем говорили и писали одно только плохое, но грешно скрывать немногое хорошее, мне известное. Громадный ораторский талант, — я бы сказал, лучший из ораторов, какого мне довелось когда-либо слышать, если бы такой оценке не мешало отсутствие в его таланте сортировочного аппарата, граничившее порою с непостижимой безвкусицею. Затем, в нем были ценны редкая память и находчивость в репликах. Не был он и особенным карьеристом: достигнув быстро всесильного поста прокурора столичной Судебной Палаты, откуда был обеспечен переход в старшие председатели Палаты или в Сенат, Камышанский, увлеченный любовью к жене профессора одного из высших петербургских учебных заведений, не задумался сломать свою судебную карьеру. Муж этой дамы поставил условием развода переезд Камышанского в другой город. Камышанский подал в отставку и принял, за отсутствием других свободных в то время вакансий, губернаторство в Вятке. Но там, из-за своего бурного темперамента, он так чудил, что закрыл для себя возможность перевода в более видную губернию. Скончался Камышанский от болезни сердца еще до февральской революции.

Воздав должное его памяти за доброе отношение к

моим просьбам по делам политических подсудимых, продолжаю прерванное изложение.

Ко мне обратился по телефону П. К. Камышанский.

— У меня к вам, — сказал он смущенно, — большая просьба: из Предварилки мне сообщили, что заболел душевно один из заключенных; в бреду он часто упоминает вашу фамилию; случай тяжелый, — он находится в связи с покушением вашей клиентки на жизнь военного судьи; начальник охранного отделения сообщил мне, что в утро от'езда в Кронштадт, такая-то посетила вас; может быть, вам удастся успокоить заболевшего; жаль отправлять его на Удельную *) — там он окончательно свихнется.

Встревоженный предстоящим тяжелым свиданием, я раздраженно ответил:

— Бросьте, Петр Константинович, дипломатничать! Мы давно условились говорить напрямик: нисколько вам не жаль отправлять подследственного на Удельную; скажите просто, что опасаетесь его побега оттуда; хорошо, я поеду, но что могу сказать несчастному, — ведь вы знаете, что невеста его повешена!

— Отлично, значит, согласны. Я сейчас протелефонирую начальнику предварилки, чтобы вас проводили в камеру заключенного, не таскать же больного в комнату свиданий с защитниками.

Бросив работу, я отправился в Дом Предварительного Заключения. Солнце уже садилось. В воздухе стоял бодрящий холод. Извозчичьи сани, словно фабричный в новых сапогах, самодовольно скрипели по снегу.

Когда, в сопровождении тюремного надзирателя, я подымался на верхний этаж, всюду уже горел газ.

— Посмотрите в «волчек», — сказал надзиратель, — мечется, как чорт перед заутреней.

Я посмотрел в «волчок». Действительно, подследственный то бегал по камере, то ложился на койку, то быстро вскакивал. Губы его все время находились в движении.

Я вошел, — сопровождавший меня надзиратель захлопнул дверь.

Больной в ту минуту лежал на койке. Я стал у изго-

*) На ст. Удельной помещалась больница для душевнобольных.

ловья, назвал себя. Он едва взглянул на меня. Бредил, говорил измученным голосом:

— Ты мне обещала не итти без моего согласия на какое-нибудь серьезное дело, — что значит твое прощальное письмо? Ты забыла, что у тебя под сердцем бьется ребенок, — наш ребенок. Его, как и тебя, не пощадят: чего требовать от них жалости, когда ты сама не пожалела его... Нет, я не корю тебя, — ты чудная, ничего плохого ты сделать не могла, — значит, так нужно было.

Я стал лепетать слова утешения, врать, что наказание ей смягчено, что на каторге она пробудет недолго, что я похлопочу о замене каторги поселением, — значит, он с ней свидится. Слова мои доходили слабо до его сознания. Бред его варьировался в словах, но тема была все та же.

Я пробился с ним более часа и ушел лишь тогда, когда от волнения и усталости стали подгибаться колени.

Через несколько дней, ранним утром, мне сказала прислуга, что дожидаются три человека с ребенком. Я вышел в приемную. На диване сидели, обнявшись, две рыдающие женщины (одну из них я уже знал — мать казненной). Подле них стоял старик, застегнутый на все пуговицы мундира. В кресле спал красивый бутуз лет семи.

Старик сделал фронт, стал величать меня «превосходительством».

По иронии судьбы, это был начальник глухой уездной тюрьмы Придворов. Он стал расспрашивать меня о своем сыне, о том, — правильны ли слухи, что он заболел душевно.

Я ответил, что это неправда, что он лишь потрясен свалившеюся на него бедою, но, несомненно, скоро поправится.

Старик несколько успокоился и попросил устроить ему свидание.

Исполнить его просьбу было легче легкого путем телефонного сношения с Камышанским. Однако, я сослался на то, что свидание убьет его сына и может довести его, при теперешнем состоянии здоровья, до сумасшествия: жаль стало доброго старика.

— Добиваться свидания, — закончил я, — будет с вашей стороны лишь проявлением неоглядного эгоизма, — вы только растравите душевную рану сына; пожалейте, если не себя, то жену и вашего славного бутуза, — везите их скорее домой.

Через несколько лет меня посетил в Берлине возвращавшийся в Ленинград из Праги, где он служил юрисконсультом Торгпредства, мой приятель — присяжный поверенный Влад. Вилл. Беренштам. Он стал напоминать мне былые успехи и делал это в том же приподнятом тоне, как и в статье своей в журнале «Образование». Я сказал ему, что самое жуткое воспоминание — свидание с его клиентом Придворовым. Беренштам, с присущей ему экспансивностью, перебил меня: «Ты знаешь — кто он? Поэт Демьян Бедный,»

Я вспомнил, что читал некоторые его произведения в «Русском Богатстве».

После того, что Демьян Бедный пережил, было бы непонятно, если бы он не примкнул к большевикам. Туда не могут не пойти обиженные жизнью.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

СИЛУЭТЫ.

Imprimerie VAL, 124, rue Compans, Paris 19e.